

ВИКТОР НЕКРАСОВ №8



ВИКТОР НЕКРАСОВ

**ВАСЯ
КОНЯКОВ**



ВИКТОР НЕКРАСОВ

**ВАСЯ
КОНЯКОВ**

РАССКАЗЫ

**ВИДАВНИЦТВО ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ „ДНІПРО“
КИЇВ — 1965**

В этот сборник вошли рассказы и очерки Виктора Некрасова как ранее издававшиеся отдельной книжкой, так и новые, печатавшиеся в периодике. Многие из них посвящены событиям минувшей войны, в частности битве на Волге. Герои рассказов — простые солдаты, в чьем облике отражается мужественный, стойкий, неслыбимый характер советского человека. В других произведениях автор рассказывает о встречах с интересными людьми, делится своими мыслями о «секретах» творческого мастерства, о судьбах любимых героев.



ВАСЯ КОНАКОВ

Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. Участок его обороны находился у самого подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее ожесточенные бои.

Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищенный, а главное, с отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися противником. Днем пятая рота была фактически отрезана от остального полка. Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. Все это очень осложняло оборону участка. Надо было что-то предпринимать. И Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. Расстояние

между ними было небольшое — метров двадцать, не больше, но кусочек этот был так пристрелян немецкими снайперами, что перебежать его днем было просто невысказано. В довершение всего стоял декабрь, грунт промерз, и лопатами и кирками с ним ничего нельзя было поделывать. Надо было взрывать.

И вот тогда-то — я был в то время полковым инженером — мы и познакомились с Конаковым, а позднее даже и сдружились. До этого мы только изредка встречались на совещаниях у командира полка да во время ночных проверок обороны. Обычно он больше молчал, в лучшем случае вставлял какую-нибудь односложную фразу, и впечатления о нем у меня как-то не складывалось никакого.

Однажды ночью он явился ко мне в землянку. С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. Смуглый кудрявый парень, с густыми черными бровями и неожиданно голубыми, при общей его черноте, глазами. Просидел он у меня недолго — выкурил сигарку, погрелся у печки и под конец попросил немного толу — «а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чертов грунт сломал».

— Ладно,— сказал я.— Присылай солдат, дам сколько надо.

— Солдат? — он чуть-чуть улыбнулся краешком губ.— Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-вперед. Давай мне, сам понесу.— И он вытащил из-за пазухи здоровенный мешок.

На следующую ночь он опять пришел, потом его старшина, потом опять он.

— Ну, как дела? — спрашивал я.

— Да ничего. Работаем понемножку. С рабочей-то силой не очень, сам знаешь.

С рабочей и вообще с какой-либо силой у нас тогда действительно было «не очень». В батальонах было по

двадцать-тридцать активных штыков, а в других полках, говорят, и того меньше. Но что подразумевал Конаков, когда говорил о своей роте, я понял только несколько дней спустя, когда попал к нему в роту вместе с поверяющим из штаба дивизии капитаном.

Последний раз, когда я там был — это было недели полторы тому назад, — я с довольно-таки неприятным ощущением на душе перебегал эти проклятые двадцать метров, отделявшие окопы от насыпи, хотя была ночь и между ракетами было все-таки по две-три минуты темноты.

Сейчас прямо от насыпи, где стояли пулеметы и полковая «сорокапятка», шел не очень, правда, глубокий, сантиметров на пятьдесят, не больше, но по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой.

Конакова в его блиндаже мы не застали. На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел старшина. В углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький связист.

— А где командир роты?

— Там... — куда-то в пространство неопределенно кивнул головой связист. — Позвать?

— Позвать.

— Подержите тогда трубку.

Вскоре он вернулся вместе с Конаковым.

— Здорово, инженер. В гости к нам пожаловали? — Он снял через голову автомат и стал расталкивать храпевшего старшину. — Подымайся, друг, прогуляйся малость.

Старшина растерянно заморгал глазами, вытер рукой рот.

— Что, пора уже?

— Пора, пора. Протирай глаза и топай.

Старшина торопливо сунул руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа. Мы с капитаном уселись у печки.

— Ну как? — спросил он, чтобы с чего-нибудь начать.

— Да ничего.— Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ.— Воюем помаленьку.

— И успешно?

— Да как сказать... Сейчас вот фриц утих, а днем, поганец, два раза совался.

— И отбили?

— Как видите,— он слегка замялся.— С людьми вот только беда...

— Ну, с людьми везде туго,— привычной для того времени фразой ответил капитан и засмеялся.— За счет количества нужно качеством брать.

Конаков ничего не ответил. Потянулся за автоматом.

— Пойдем, что ли, по передовой пройдемся?

Мы вышли.

И тут выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два ручных пулемета на флангах — одним словом, все то, чему и положено быть на передовой. Не было только одного — не было солдат. На всем протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. Только старшину. Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам.

Потом уже, много месяцев спустя, когда война в Сталинграде кончилась и мы, в ожидании нового наступления, отдыхали и накапливали силы, уже на Украине, под Купянском. Конаков рассказывал мне об этих днях:

— Трудновато было, что и говорить. Сам удивляюсь, откуда нервы взялись... Тогда еще, когда ход сообщения рыли, в роте было человек шесть бойцов. Потом один за

другим все вышли из строя. Немец каждый день по три-четыре раза в атаку ходит, а пополнения нет. Что хочешь, то и делай. Звоню комбату, а он что? Сам солдат не родит. Жди, говорит, обещают со дня на день подкинуть. Вот мы и ждали — я, старшина и пацан связист Сысоев. Сысоев на телефоне, а мы со старшиной по очереди на передовой. Постреливаем понемножку, немцев дурачим, пусть думают, что нас много. А как атака... Ну, тут нас пулеметчики и артиллеристы вывозили. На насыпи, под вагонами, два станковых стояли и одна «сорокапятка». Сейчас вот вспоминаешь, улыбаешься только, а тогда... Ей-богу, когда старшина с берега приходил с обедом, расцеловать его готов был. А когда через три дня пять человек пополнения дали, ну, тогда уж ничего не страшно было.

Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна — война разбросала нас в разные стороны. На Донце я был ранен. Когда вернулся, Конакова в полку уже не было — тоже был ранен и эвакуирован в тыл. Где он сейчас — не знаю. Но когда вспоминаю его — большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой, — когда думаю о том, что этот человек вдвоем со старшиной отбивал по нескольку атак в день и называл это только «трудновато было», — мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и рядом с такими людьми, как Конаков, не страшен никакой враг.

С Е Н Ь К А

1

В первой половине дня Сенька кое-как еще держал себя в руках, но, когда после небольшого перерыва самолеты стали заходить не только со стороны солнца, а сразу со всех четырех сторон, он почувствовал, что больше не может. Тело дрожало мелкой противной дрожью, и, если он чуть-чуть ослаблял челюсти, зубы начинали стучать друг о друга совсем так, как это было, когда он болел малярией. В животе что-то замирало. Во рту было сухо и горько от табачного дыма. Утром у него был еще полный мешочек табаку, сейчас осталась одна пыль — трехдневную норму он искурил за полдня.

«На две штуки осталось,— подумал Сенька, насыпая смешавшуюся с хлебными крошками пыль на бумажку,— а потом...»

Но он так и не успел додумать, что случится потом. Целая куча («Штук сто»,— мелькнуло у Сеньки в голове) самолетов с красными лапами стала пикировать прямо на него. Он выронил мешочек, бумажку, засунул голову меж колен, стиснул зубы и, крепко зажмурив глаза, сидел так, пока не прекратились взрывы. Потом осторожно приоткрыл глаза и высунул голову из щели. Сквозь несущийся

куда-то влево дым мелькнуло черное крыло самолета с черным крестом. Сенька опять закрыл глаза. Но ничего не случилось. Самолет улетел.

«Господи боже мой... Да что же это такое... Господи боже мой...»

Сенька стал искать бумажку, потом мешочек с табаком, потом скрутил сигарку, но пальцы дрожали, табак рассыпался, и сигарка получилась тоненькая и жалкая.

Мимо прополз Титков — пулеметчик второго взвода. Лицо у него было все мокрое, с прилипшей ко лбу и щекам землей. Правая рука болталась, как тряпка, и волочилась по земле. Он на минутку задержался у Сенькиной щели, затянулся его сигаркой и пополз дальше.

«Отвоевался», — подумал Сенька, и ему сразу представилось, как Шура-санинструкторша перевязывает Титкову руку, как трясется он на подводе в медсанбат, как лежит там на соломе.

Над рощей опять появились самолеты. Проходившие мимо Сенькиной щели какие-то бойцы, увидав самолеты, рассыпались во все стороны. Кто-то тяжелый и горячий вскочил прямо на Сеньку и прижал его к земле.

Бомбы рвались долго, совсем рядом, а когда перестали рваться, Сенька попытался разогнуться. Но тяжелое лежало на нем и не хотело сползать. Сенька выругался, но тяжелое все лежало. Он уперся руками в землю и свалил тяжелое в сторону. Здоровенный боец в расстегнутой, совершенно мокрой от пота гимнастерке лежал рядом и смотрел на Сеньку остановившимися, немигающими глазами. Сеньке стало страшно.

Вчера, когда они на машинах ехали на передовую, он видел только лошадей — вздутых, с раскоряченными ногами, лошадей, валявшихся на дороге. Людей, вероятно, убрали. А вот этот лежал совсем рядом, большой, теплый еще... И рука за голову закинута.

Мимо щели один за другим, обвешанные минами и котелками, согнувшись, волоча за собой пулеметы, перебежали бойцы. Самолеты делали второй заход.

«Опять, сволочи...»

Грохот укатился куда-то в сторону. Густая, удушливая пыль стелилась по земле. Ничего не было видно: ни неба, ни роши — ничего, только тускло поблескивал затыльник винтовки на бруствере. Сенька со злобой посмотрел на нее.

«Палка», — подумал он и протянул к винтовке руку.

Он не принимал никакого решения, он просто снял винтовку с бруствера, зажал ее меж колен, взвел курок, положил руку на дуло, зажмурил глаза и нажал крючок.

Он не услышал выстрела. Что-то сильно толкнуло и обожгло ладонь. И сразу все тело охватила слабость. Пальцы беспомощно повисли. Тоненькими ручейками по ним текла кровь и капала на штанину. Большое красное пятно расплывалось по колену.

Кто-то крикнул над самым ухом:

— Какого черта стреляешь, дурья голова!

Сенька поднял голову. Перед ним сидел командир взвода.

Сенька безразлично посмотрел на него, потом на руку, потом опять на него. Лейтенант, кажется, что-то кричал, но Сенька ничего не слышал. Он смотрел на серое от пыли, небритое лицо, видел, как шевелятся губы, блестят злые, колючие глаза, но слов не слышал. Он знал только одно: сейчас он вылезет из этой щели и пойдет туда, назад, к речке, где нет самолетов, нет этого бойца с остановившимися глазами, нет всего этого... И он сидел и слушал и ничего не говорил, а потом — он даже не помнит, лейтенант ли ему приказал, или сам так решил, — напялил скатку, затянул и перекинул через плечо мешок и, опершись о винтовку, вылез из щели. Боли в руке не чувствовал никакой.

Откуда-то появился младший сержант — Сенька забыл его фамилию. Сидел тут же на корточках.

— Отведешь его к командиру роты, а потом в медсанбат.

Младший сержант что-то ответил и ткнул Сеньку в бок прикладом автомата.

— Пошли...

И они пошли — он и младший сержант.

Командира роты не застали, а заместитель по строевой приказал прямо в медсанбат вести — там уж знают, что с такими делать.

— Пристрелил бы на месте, да патрона жалко...

Только когда они отошли шагов на сто, содержание этой фразы дошло до Сенькиного мозга. Он обернулся, но лейтенанта уже не было. Они пошли дальше. Впереди маячили телеграфные столбы с оборванными проводами.

2

В медсанбате, у большой, заброшенной ветками палатки, толпились бойцы. Лежали, сидели, просто так слонялись. Забегали и выбегали из палатки сестры в грязных пятнистых халатах. Большие крытые машины пятились и урчали вокруг палаток. Двое бойцов без рубашек, ругаясь, выносили и клали на машины носилки с ранеными. Раненые молчали и с тревогой смотрели на небо. Там, над передовой,— отсюда до нее было километров шесть-семь,— опять пикировали самолеты. Самой передовой не было видно — мешал кустарник, но распускавшиеся над ней букеты разрывов были видны отчетливо, и Сенька почувствовал, как поползли мурашки у него по спине. Он отвернулся и стал смотреть на машину, которую грузили.

Младший сержант сидел рядом и молча курил. За всю дорогу он не сказал ни слова. Сеньке хотелось попросить у него закурить, но он не решился.

«Откажет, должно быть»,— подумал он и проглотил слюну.

Мимо пробежал маленький черненький человечек в халате и больших круглых очках. Он приостановился на секунду и торопливо, не глядя, бросил:

— Леворучник?

— Леворучник,— ответил младший сержант и встал.

— Давай сюда...— и человек в очках забежал в палатку.

В палатке было душно и пахло чем-то резким и неприятным. Вдоль стен сидели раненые бойцы. Посредине стояло два белых стола, покрытых клеенкой. На одном лежал боец с закинутой назад головой. Был виден только шершавый, небритый подбородок. Боец тихо, монотонно стонал. Одной ноги у него не было, а вместо нее было что-то красное, с завернутой кожей и куском торчащей кости.

Высокий человек, тоже в халате, наклонившись, ковырялся в этом красном чем-то очень блестящим.

«Господи...— подумал Сенька.— Что же это такое?..» — и почувствовал, что его начинает тошнить.

— Рубашку скинь... и сюда садись...

Маленький в очках коленом пододвинул табуретку. Сенька с трудом — левая рука стала тяжелая и неповоротливая, хотя и не болела совсем,— снял через голову скатку, потом стал стягивать гимнастерку и нательную рубашу. Рука никак не вытягивалась и путалась в рукаве.

«И зачем это? — подумал Сенька.— Ведь у меня все цело, рука только... А он рубашу заставляет...»

— На табуретку садись. Сколько раз говорить надо.

Сенька сел и положил руку на колено ладонью кверху. Кровь перестала идти, но где, собственно говоря, рана, он так и не мог понять — все залепилось, покрылось грязью.

— Сколько лет? — спросил маленький в очках, должно быть доктор.

Сенька не понял, о чем его спросили.

— Ну, какого года?

— Я? С двадцать четвертого,— нерешительно ответил Сенька.

— Двадцать четвертого, а как бык здоровый,— сказал доктор и пощупал тугие Сенькины бицепсы.— И не стыдно тебе?

Сенька ничего не ответил.

— Одной рукой двух фрицев задушишь, а ты вместо того...— Доктор не договорил и быстрым движением ущипнул Сеньку за живот, оттянул кожу и всадил в нее большую иглу с чем-то стеклянным посредине. Сенька вздрогнул, но не от боли, а от неожиданности.

Потом доктор мокрой ваткой долго мыл его ладонь, и это уже было больно. Потом кому-то, не оборачиваясь, крикнул: «Сухо...» И сестра в блестящих щипчиках принесла бинт, и доктор туго обмотал ладонь.

— Все... Одевайся.

Сенька натянул рубаху, гимнастерку и, не зная, можно ли садиться на табуретку, отошел немножко в сторону и стал смотреть, как со стола снимают раненого без ноги.

— Ну, чего тебе еще?

Доктор снизу вверх смотрел на него, и Сеньке стало вдруг неловко.

— Где твой... что привел тебя?

— Там... на дворе.

— Скажи, чтоб в четвертую палатку отвел.

Сенька вышел.

В четвертой палатке оказался только один раненый. Он спал на соломе, раскинув ноги и положив белую, перебинтованную руку на живот. У входа стоял часовой.

Сенька взбил солому, положил в голову скатку и растянулся рядом с раненым. Со двора доносились гудки автомашины. Где-то совсем недалеко все еще громыхало. Сенька лежал и смотрел на зеленое, свисающее над его головой полотно палатки. Потом закрыл глаза и долго лежал с закрытыми глазами...

...Подбежал старый, одноглазый, с облезлым хвостом Цыган. Повилыд хвостом, лизнул руку и побежал дальше... Потом появилась большая миска с пельменями. Они были очень горячие, а мать подкладывала еще и еще. Из-за окна доносилась гармошка. Он торопился доесть пельмени, чтоб пойти с ребятами на Енисей, но вспомнил, что отец велел починить крыльцо. Стал искать топор...

Кто-то вошел и вышел из палатки. Сенька открыл глаза, но в палатке уже никого не было. Только пола палатки слабо раскачивалась. Спящий рядом боец что-то бормотал во сне. Сенька опять закрыл глаза.

...Енисей — широкий-широкий. И маленькая лодочка на нем. В ней отец. Здесь таких рек нет. Все маленькие какие-то, закисшие, желтые. И лесов здесь нет. Разве это леса? Дубки, осинки.

И вообще ни черта не поймешь.

Сказали, немца приехали бить... А где немец? Привезли с вечера, велели окопаться. Сказали, что это уже передовая и за той вот сопочкой первый эшелон находится. Но ни эшелона, ни немцев Сенька не увидел. Поужинал сухарями из мешка — кухня где-то застряла сзади, — стал копать себе окопчик. Грунт был мягкий, хороший. Сенька быстро выкопал окопчик на всю длину лопаты, сделал бруствер в ту сторону, где, сказали, немцы, замаскировал бурьяном, на дно положил мягкой пахучей травы и лег спать — до утра командир взвода разрешил спать. И Сенька заснул, пристроив винтовку между коленями.

А утром... Как началось... Как началось...

Политрук все говорил, что немец штыка боится. И Сенька так научился работать штыком, что чучело из земли чуть ли не с корнем вырывал. И гранату во всем батальоне дальше всех бросал, дальше командира батальона даже... Но вот бросал, бросал, два месяца бросал, — а что толку? Немец вовсе в воздухе оказался — ни штыком, ни гранатой не достанешь...

Лежавший рядом боец зашевелился, перевернулся в сторону Сеньки, почмокал губами и проснулся. Некоторое время он лежа смотрел на Сеньку, потом сел, поджал ноги и спросил:

— Из тридцать седьмого?

— Из тридцать девятого.

— Это что во втором эшелоне лежит?

Сенька кивнул головой. Боец улыбнулся. У него были черные редкие зубы, мелкие морщины на всем лице и маленькие блестящие глаза с короткими прямыми ресницами. Левая ладонь так же, как и у Сеньки, была перевязана и подвязана к шее.

— Сам? — боец глазами указал на Сенькину руку.

Сенька почувствовал, что уши у него становятся горячими, и ничего не ответил.

— Ты не бойся... Говори.

Сенька переложил руку на другое колено — она стала вдруг ныть — и уставился в кончик своего сапога.

— Да ты что — немой? Или контузило? Звать тебя как?

— Сенькой.

— Семен, значит. А фамилия?

— Коротков фамилия.

— Ну, а меня Ахрамеев — Филипп Филиппович Ахрамеев. Будем знакомы, — и он протянул руку.

Сенька пожал сухую, горячую ладонь.

— Боишься, что ли? — боец криво улыбнулся и хлопал здоровой рукой Сеньку по колену. — Зря... Зря

боишься. Сойдет. С месячишко отдохнем, а там... мало-мало заживет, и стрекача дадим. До излечения все равно судить не будут. Это уж я знаю,— он потянулся и зевнул.— А может, и отбросимся еще.

Сенька молчал.

Боец вытащил из-под соломы плоскую железную коробочку, в которой немцы носят ружейные принадлежности, и ловко, одной рукой и губами, свернул сигарку.

— Тебе, правда, маленько хуже. Мы хоть на передовой все время толклись, а у вас, в тридцать девятом, кроме бомбежки, ни черта... Пулевое ранение. Начнутся вопросы, расспросы... Ты через котелок стрелял?

— Через какой котелок? — не понял Сенька.

— Через котелок, спрашиваю, стрелял или через мокрую тряпку?

— Нет. Просто так...— Сенька опять почувствовал свои уши.

— Эх, голова ты... — вздохнул боец.— Разве делают так? Котелок, тряпка — они же ожог скрывают. А ожог — что? Первая улика,— и он опять зевнул.— А в общем ни хрена, драпанем, не тужи...— Он вытянулся на соломе и молча стал курить, сплевывая в сторону крошки махорки.

Сенька взял «сороковку», докурил ее до самых пальцев и вскоре заснул.

3

Вечером принесли пшеничного супа с куском хлеба, а потом пришел полковой химик — старший лейтенант, вынул лист бумаги и, присев на корточки, стал спрашивать Сеньку, где он родился, сколько ему лет, где учился и еще много вопросов. Сенька на все отвечал, а старший лейтенант записывал. Потом старший лейтенант прочел записанное

и велел подписаться на каждом листочке. Сенька подписал. Старший лейтенант аккуратно сложил листочки пополам, всунул в планшетку и, ничего не говоря, ушел.

«За человека не считает», — подумал Сенька и вспомнил, как он когда-то угощал этого самого старшего лейтенанта домашней крепкой махорочкой и как тот после этого всегда при встрече с Сенькой весело говорил: «Ну как, орел, покурим, что ли, твоей сибирской, крепенькой?»

Сейчас о махорке он даже не заикнулся.

— Дознаватель, — сказал из своего угла Ахрамеев, — ерундовина... Вот когда следователь будет, тогда узнаешь.

— А что, еще и следователь будет? — спросил Сенька.

— А как же. Он-то уж поговорит, будь уверен, — сказал Ахрамеев и встал. — Выйдем-ка посмотрим, что на божьем свете делается.

Они вышли. Сели у входа в палатку.

У перевязочной все так же толклись бойцы — запыленные, в выцветших гимнастерках, в черных от грязи бинтах.

Мимо прошел боец, опираясь на палочку.

— Ну как там, браток? — спросил Ахрамеев.

— Не видишь, что ли?.. — боец кивнул головой в сторону передовой и спросил, где регистрируют.

Над передовой один за другим пикировали немецкие самолеты. Какие-то новые, не похожие на утренние — маленькие, четырехкрылые, точно бабочки. Они долго кружились один за другим, потом камнем, совсем отвесно, падали вниз.

— Хозяева... хозяева в воздухе... Ты только посмотри. — Ахрамеев в сердцах сплюнул. — Что хотят, то и делают.

Сенька ничего не ответил. Он посмотрел на желтоватое облако, плывущее над передовой, и у него опять мурашки по спине пошли.

— Пойди вот потягайся с ним. Сегодня утром один наш

«ястребок» в бой вступил. Так они его, бедняжку, так гоняли, так гоняли... А потом сбили. Туда куда-то, за лес, упал.— Ахрамеев протяжно вздохнул.— Не война, а убийство сплошное.

Сенька, скосившись, посмотрел на Ахрамеева. Тот сидел, поджав к подбородку колени, и тоже смотрел туда, где бомбят. Потом взглянул на Сеньку:

— Вот я на тебя смотрю. Парень здоровый — кровь с молоком. Тебе жить надо. Жить. А тебя под бомбы, как скотину, гонят. Я вот старик, а и то жить хочу. Кому умирать охота? Да по-бестолковому еще... Мясорубка — вот что это, а не война.

— Нельзя так говорить,— сказал Сенька не поворачиваясь,— солдату нельзя так говорить.

Ахрамеев даже рассмеялся мелким, сухим смешком:

— Нельзя, говоришь? А руку зачем продырявил? Чтоб немца сдержатъ, что ли? Ты уж хвостом не верти. Сделал так сделал. И правильно сделал. Голова, значит, еще работает у тебя. А посидел бы еще на передовой, совсем бы ее лишился или вот так, как этого, на носилках, приволокли бы,— и он подбородком указал на раненого на носилках.

Это был тот самый без ноги, которого Сенька видел в перевязочной. Лицо у него было совсем белое и еще гуще обросло бородой. Он держался руками за края носилок и при каждом шаге носильщиков морщился.

«Что теперь парень делать будет? — подумал Сенька.— Ни пахать, ни плотничать... Сиди весь век и на других смотри... Или без руки». Сенька видел одного — обе руки оторвало. По локти. По малой нужде и то сам ходить не мог — просил, чтоб помогли.

Сенька сжал кулак. Посмотрел на него. Хороший кулак. И рука хорошая. Крепкая. Сеньке вдруг ужасно захотелось поработать топором. Отец говорил, хороший плот-

ник из него получится — и сила есть, и точность, и глаз хороший. Руки — это все. Нельзя без рук жить... И Сенька опять сжал кулак и посмотрел на него.

Ахрамеев что-то говорил. Сенька поймал только конец фразы: «...за месяц чего только не случится. Время, время надо протянуть. Вот что надо. А там...»

Сенька посмотрел на Ахрамеева. Тот по-прежнему сидел, поджав ноги к подбородку. И Сенька вдруг почувствовал, что еще минута — и он ударит кулаком по этому желтому морщинистому лицу. Он встал и вошел в палатку. Стоявший у входа часовой пристально посмотрел на него.

«Чего он смотрит? Людей, что ли, не видел? Его бы туда, к бомбам поближе».

Когда Ахрамеев зашел в палатку, Сенька сделал вид, что спит.

4

Весь следующий день Сенька просидел у входа в палатку и смотрел туда, где рвутся бомбы.

С передовой шли раненые, и он искал среди них знакомых. Прошло несколько человек из пятой и шестой рот. Он хотел их остановить, но почему-то не сделал этого. Они прошли в перевязочную, а Сенька продолжал сидеть и смотреть туда, за кустарник, где клубилось и гроыхало небо, где остались Тимошка, и Синцов, и командир взвода, и еще человек двадцать ребят, с которыми он вместе жил, и из одного котелка ел, и впятером один бычок курили.

А может, их уже и в живых нет? А те, что живые, увидят его, Сеньку, и...

На третий день в перевязочной он увидел старшину своей роты. В Татьяновке, под Купянском, они жили с ним в одной хате. Сенька даже ремень ему свой подарил — хороший, желтый, совсем новый. Неплохой был старшина.

Бойцы всегда были сыты. А что еще бойцу от старшины надо. Чтоб кормил хорошо и белье чаще менял. А что ругается, так это уж им, старшинам, так положено. А Пушкин хоть и много ругался, но о бойцах заботился крепко.

После перевязки Сенька подошел к Пушкину. Тот стоял у стола и ждал, пока фельдшер напишет ему какую-то бумажку.

— Здравствуйте, товарищ старшина,— негромко сказал Сенька и поднес руку к пилотке.

Старшина оглянулся и посмотрел на него, потом на его руку.

— Тоже ранило? — спросил Сенька и стал глазами искать, куда же старшину ранило.

— Нет,— коротко ответил тот и отвернулся.

Сенька переступил с ноги на ногу, посмотрел на такую знакомую широкую спину, на свой постаревший ремень и опять спросил:

— Ну как там, на передовой?..

Старшина ничего не ответил, стоял и смотрел, как фельдшер пишет бумажку: тот быстро-быстро водил пером по ней.

«Не расслышал»,— подумал Сенька и опять собрался задать тот же вопрос — уж очень ему хотелось знать, живы ли Тимошка и Синцов. Но тут старшина круто повернулся и с разгона налетел на него.

«Сейчас облает»,— подумал Сенька. Но тот не облаял, даже слова не сказал, а, засовывая бумажку в боковой карман, пошел к выходу. Сенька постоял, потом тоже вышел.

Старшина стоял у подводы и, насвистывая, взбивал сено.

«Подойти к нему, попроситься — возьмет, может...»

Старшина снимал с лошадей мешки с овсом и вставлял мундштуки.

«Так прямо и скажу. Что угодно пускай делают. Гранаты могу бросать. Патроны подносить...»

Он вытер выступивший вдруг на лбу пот и подошел к повозке. Старшина уже сидел в ней, уминаясь.

— Товарищ старшина...

Пушков повернулся.

Лицо у него было усталое и какое-то старое. Он здорово похудел за последние дни.

— Чего тебе?

— Возьмите меня, товарищ старшина...— Больше он ничего не смог сказать.

— Тебя?

Сенька мотнул головой. Во рту пересохло, и язык вдруг стал большой и неповоротливый. Старшина поправил шинель под собой.

— Пошел, Серко...— и дернул вожжи.

Подвода затряслась по ухабам, подымая тучи пыли, потом скрылась за поворотом. Сенька проводил ее глазами, вошел в палатку и до обеда лежал, уткнувшись лицом в солому.

Больше он ни к кому уже не подходил.

5

На передовой что-то изменилось. Стрельба приблизилась. В рожицу и вокруг нее сначала редко, а потом все чаще и чаще начали падать снаряды. Раненых стало так много, что ими заполнили не только их с Ахрамеевым палатку, но раскладывали их прямо на земле в кустах. Доктора и сестры сбивались с ног. Операционная работала круглые сутки без всякого перерыва.

— Плохое дело,— говорили бойцы.— Авиация одолевает, дохнуть не дает.

Бойцы были из разных полков, из разных дивизий, но все говорили одно — жмут немцы, спасу нет.

Рядом с Сенькой положили худенького, с наголо вы бритой круглой головой сержанта-разведчика. У него были большие черные, вероятно, когда-то очень веселые глаза. Ранен он был в обе ноги. Четырьмя осколками. Пятый сидел где-то в ключице. Лежал он все время на спине, но не стонал и не жаловался, только воды все просил — у него был жар.

— Где это тебя так разделало? — насколько мог участливо спросил Сенька: ему очень жалко было худенького сержанта.

— На mine подорвался, в разведке, — сказал сержант и, тяжело дыша и поминутно кашляя, стал рассказывать, как он с тремя разведчиками — командира взвода убило, и он его заменил — пошел за «языком», как они достали этого «языка», а на обратном пути сбились, попали на минное поле, и вот только он один и остался жив — всех четверых, с фрицем вместе, на клочки разорвало.

Сенька молча слушал и сочувственно смотрел на сержанта. «Какой он худенький, совсем пацан», — думал он и сравнивал свою мускулистую жилистую руку с тоненькой, совсем как у девочки, рукой сержанта, выглядывавшей из рваного рукава.

— Повезло тебе, — сказал Сенька.

— Повезло, — улыбнулся сержант.

— А ты давно воюешь?

— Я? Дай бог. Третий раз вот уже ранен.

— Третий раз? — удивился Сенька.

— Третий. Под Смоленском, под Ржевом и вот здесь теперь.

— И все живой остаешься?

— Как видишь, — сержант медленно, с натугой улыб-

нулся, ему, по-видимому, трудно было улыбаться.— Водички нету?

— Я сейчас принесу,— сказал Сенька и побежал на кухню.

Когда он вернулся, сержант лежал и тяжело дышал. Лицо его стало совсем красным.

— Жар, должно быть,— сказал Сенька и поднес кружку к сухим, потрескавшимся губам сержанта. Тот с трудом сделал несколько глотков, откинулся назад и слабо выругался.

— Обидно, черт возьми,— он опять выругался.— Не увижу больше ребят.

— Тебе что — кости перебило?

— Кости. На обеих ногах кости.

Сенька посмотрел на его ноги — обмотанные во всю длину, толстые и какие-то квадратные, только кончики пальцев выглядывали.

— Да, долго тебе лежать.

— Долго,— вздохнул сержант и опять попросил пить.— С полгода проваляюсь. Как колода. А ребята воевать будут...

Больше он ничего не сказал. Закрыв глаза и долго лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал.

«Как бы не помер»,— подумал Сенька, и ему еще более жалко стало худенького сержанта. Он осторожно приподнял бритую голову его — она была горяча, как огонь,— и подложил свою скатку.

Ночью сержант стал бредить — вспоминать Полтаву, Клашу, ругать какого-то старшину,— и Сенька всю ночь менял ему холодную, мокрую тряпку на лбу. К утру бред прошел, жар отпустил, и часа два сержант спал спокойно. Сенька тоже вздремнул.

Только утром заметил Сенька, что у сержанта на груди Красная Звезда. На одном уголке эмаль облупилась

«Такой молоденький — и уже орден», — подумал Сенька и побежал за завтраком.

— За что это ты орден получил? — спросил потом Сенька, кормя сержанта с ложечки.

— За что дают, за то и получил, — уклончиво ответил Николай (сержанта звали Николаем) и облизал ложку.

— И давно получил?

— Давно.

«Смелый, должно быть, — подумал Сенька. — По морде видать, что смелый. А ведь такой худенький, хлипкий».

После завтрака Николаю захотелось оправиться, и Сенька бегал за судном — оно было одно на весь санбат, и на него была очередь — и помогал Николаю с ним сладить.

— Ты мировая няня, — сказал Николай, и Сеньке это было ужасно приятно.

Когда Николая унесли на перевязку, Сенька нарвал свежей травы и подложил под плащ-палатку, на которой лежал Николай. А на обед выклянчил у повара лишний кусок мяса, но у Николая не было аппетита, и пришлось ему самому съесть.

— Аппетитец у тебя — дай бог, — улыбнулся Николай. Сенька смутился и отставил котелок.

— А мне вот не лезет ничего. Тошнит чего-то.

— Это от жару.

— А вот пить... Ведро бы за раз выпил.

— Дать? — спросил Сенька и потянулся за кружкой.

— Дай.

Николай, морщась от боли, но с наслаждением, выпил пол-литровую кружку, откинулся на скатку и стал смотреть на голубой ослепительный кусок неба, видневшийся в отверстие палатки.

Часам к трем, когда солнце стало особенно припекать, Николай попросил, чтобы его вынесли на двор — палатка

накалилась, и у него заболела голова. Сенька выпросил у лейтенанта, лежавшего в углу, плащ-палатку и растянул ее так между кустами, что солнце совсем не мешало Николаю. Сам он пристроился рядом, отгонял лопухом от Николая мух, скручивал ему папиросы — он довольно ловко научился это делать рукой и коленом — и бегал на кухню прикуривать.

Над головой время от времени пролетали самолеты и бомбили большой кудрявый лес километрах в пяти отсюда — там стояла артиллерия и какая-то кавалерийская часть.

Так они лежали — Сенька на животе, Николай на спине — и говорили о «юнкерсах», об артиллерии, о кавалерии, о том, как плохо приходится ей в эту войну. Николай здорово разбирался во всех видах самолетов, учил Сеньку, как отличать «юнкерс» от «хейнкеля» и «мессершмитта-110», как надо стрелять в самолет, когда он низко летит. Потом им надоело разговаривать, и они просто лежали и смотрели на небо, следя за косяками летящих бомбардировщиков.

Подъехали две машины с ранеными. Их быстро разгрузили под деревьями, а машины загнали в кусты. Опять стало пусто, только часовой у палатки ходил взад и вперед, перекладывая винтовку из руки в руку.

— И чего это он все ходит и ходит? — спросил вдруг Николай, смотря на часового. — На передовой людей не хватает, а он здесь торчит.

— Положено так, должно быть, — уклончиво ответил Сенька и стал возиться с плащ-палаткой. — Перетянуть, что ли, а то солнце заходит.

— Может, дезертиры тут с нами лежат? А? Как ты думаешь?

Сенька ничего не ответил. Стоя на коленях, он натягивал плащ-палатку.

— А ты знаешь,— помолчав, сказал Николай,— по моему, тот, что рядом с тобой лежит, самострельщик. Вид у него какой-то такой...

— Может быть,— неопределенно ответил Сенька.— Тебе воды не принести? — Сенька встал.— Там, на кухне, свежей, кажется, привезли.

— Не стоит, не хочется. А я вот с ними бы не цацкался. Лечат чего-то их, возятся. Кому это надо? Люди там,— он кивнул головой в ту сторону, где день и ночь громы хало,— из кожи вон лезут, держат, а эти сволочи о шкуре своей только думают. Пострелял бы их всех к чертовой матери. Дай-ка я докурю... И знаешь,— Николай с трудом повернул голову, чтобы увидеть Сеньку,— их сразу отличить можно. Морды воротят, в глаза не смотрят. Чувствуют вину свою, гады,— он вдруг засмеялся.— Вот у тебя тоже левая ладонь — совсем самострельщик. Тебя чем это? Пулей или осколком?

— Пулей,— чуть слышно ответил Сенька и побежал с котелком на кухню.

6

Вечером пришел приказ переходить на другое место. Вся ночь ушла на переезд. Сенька сам устроил Николая в машине и ехал все время рядом, поддерживая его. Николай лежал у самой кабины, там меньше трясло. На ухабах он крепко хватал Сенькину руку, но ни разу не пикнул. Дорога была отвратительная.

На новом месте Николая с Сенькой чуть не разлучили. Сенька долго бегал за старшим врачом, командиром батальона, но те даже слушать не хотели, отмахивались — дел и так по горло: машины с инструментами застряли в дороге, а новые раненые стали уже поступать. Только

под самое утро Сенька договорился с каким-то фельдшером, и Николая положили в Сенькину палату, хотя в ней, кроме него и Ахрамеева, были только «черепники».

Весь следующий день они спали.

Вечером пришел старший врач, грузный, с сонными маленькими глазами армянин, посмотрел на Сенькину руку, сказал, что недельки через две выписывать уже можно, а Николая велел записать в список для эвакуации.

— Придется поваляться, молодой человек. Боюсь, как бы легкое не было задето.

Николай только вздохнул.

Но прошел день, и еще день, и еще один, а Николая все не эвакуировали. Машин было всего три — две полторки и одна трехтонка, — и в первую очередь отправляли «животиков» и «черепников». Раненых с каждым днем становилось все больше и больше. Фронт медленно, но упорно двигался на восток. Круглые сутки гудела артиллерия. Над передовой висела авиация.

Дни стояли жаркие. Одолевали мухи. По вечерам — комары. Раскаленный воздух дрожал над потрескавшейся землей. Серые от пыли листья беспомощно висели над головой. Медленно ползло по бесцветному от жары и пыли небу ленивое июльское солнце.

Сеньку в палатке прозвали Николаевым адъютантом. Он ни на шаг не отходил от него — мыл, кормил, поил, выносил судно. Стащил на кухне большую медную кружку, чтоб у Николая все время под руками была холодная вода, приносил откуда-то вишни, усиленно пичкал выпрошенным у сестры стрептоцидом, отдавал свою порцию водки, говоря, что не может в такую жару пить, и Николай с трудом, морщась, глотал ее, хотя ему тоже не хотелось, — просто чтоб не обижать Сеньку.

Николаю становилось лучше. Температура упала — выше 37,5—37,6 не подымалась. По вечерам, когда все

в палатке засыпали и только наиболее тяжелые ворочались и стонали, Сенька с Николаем долго болтали в своем углу. Сенька полюбил эти вечера. Где-то над самой головой успокоительно стрекотали ночные «кукурузники», а они лежали и перемигивались папиросами.

— Ты за лисицами охотился? — спрашивал Сенька.

— Нет, не охотился, — отвечал Николай.

— А за медведями?

— И за медведями не охотился.

— Приезжай тогда после войны ко мне. Я тебя научу охотиться. У нас там горностаи, куницы есть, а белок...

И Сенька со всеми подробностями рассказывал, как он с отцом на охоту в тайгу ходил на целую неделю и как медведь чуть не оторвал хвост Цыгану и с тех пор шерсть из него стала вылезать и хвост совсем стал голый.

Николай слушал, иногда покашливая, потом спрашивал:

— А за кукушками ты охотился?

— Кто же за ними охотится? Кому они нужны? — смеялся Сенька.

— А я вот охотился.

— Врешь.

— Зачем вру? Они там большие, жирные, пуда в три-четыре весом.

— Где ж это такие кукушки?

— В Финляндии такие кукушки.

— А ты и в Финляндии был?

— Был. Кякисальми — слышал? Нет? Тем лучше. Я добровольцем тогда был. Вот эти два пальца отморозил тогда. И на ноге, на левой, четыре.

— Ты и орден там получил? — спросил Сенька.

— Там.

Сенька выждал немного, думая, что Николай еще что-нибудь скажет, но Николай ничего не говорил. Тогда Сенька спросил:

— А за что ты его получил?

— Чудак ты, Сенька. За что да за что. За войну, конечно.

— Нет... За что именно?

— Черт его знает. В разведку ходил, «языка» ловил. «Врет,— подумал Сенька,— наверное, танк подбил или генерала в плен взял...»

Некоторое время они лежали молча, прислушиваясь к звону ночных кузнечиков. Полы палатки были приподняты, и над головами видны были звезды. Где-то сверкали зарницы.

— Эх, Сенька, Сенька...— тихо сказал Николай.— Жаль, что не в одной части мы с тобой. Взял бы я тебя к себе. Хороший бы разведчик из тебя получился. Раз охотник — значит, и разведчик. Помкомвзводом бы назначил.

— Я карту не умею читать,— сказал Сенька.— И вообще...

— Что вообще? Научился бы.— Николай, помолчав, вздохнул.— А завтра меня эвакуируют. Это уже точно. Доктор сказал. В тыл повезут. Ты воевать будешь, а я месяца четыре бока отлеживать где-нибудь в Челябинске,— и опять помолчал.— А до чего не хочется, Сенька, если бы ты знал...

Сенька ничего не ответил.

Больше всего в жизни ему хотелось сейчас быть у Николая помкомвзводом. Ох, как бы он у него работал... И обязательно бы сделал что-нибудь очень геройское. Так, чтоб все о нем заговорили. И орден бы ему дали. И чтоб Николай... Нет, этого никогда уже с тобой не будет. И воевать ты больше не будешь. Отвоевался. «Пострелял бы их всех к чертовой матери,— сказал Николай.— Чего с ними цацкаться». И с тобой не будут цацкаться. Ты солдат, ты давал присягу, обещал драться до последней

капли крови, и ты нарушил эту присягу, струсил — теперь становись... Все! Нет тебе жизни на земле...

Сенька почувствовал, как что-то подступило к горлу, встал и вышел из палатки. Боже, чего б он только не дал, чтоб стать помкомвзводом у Николая...

На следующий день Николая тоже не эвакуировали. Где-то разбомбили мост, и машины стали ходить вкруговую. К тому же одна поломалась, и работали теперь только две.

Целый день шел дождь. Палатка была дырявая — посечена осколками, — и дождь тоненькими струйками, точно душ, орошал бойцов. Но никто не ворчал — уж больно жара надоела.

— Да и ребята на передовой отдохнут малость, — смеялись раненые, — меньше будут головы кверху задирать.

Сенька достал в соседней палатке потрепанную, без начала и конца книжечку — пьесу Гоголя «Женитьба» — и, водя пальцами по строчкам, читал вслух. И хотя читал он медленно, запинаясь — мешали какие-то незнакомые буквы «ъ», «ѣ», — всем очень нравилось, и смеялись дружно и весело.

Как раз когда Сенька дошел до того места, где Подколесин выскочил в окно, в палатку вошел красноармеец.

— Тебе чего? — строго спросил Сенька, не отрывая пальца от книги, чтоб не потерять места. — Видишь, заняты люди.

Красноармеец равнодушно посмотрел на Сеньку, прислонил винтовку к подпиравшему палатку шесту и стал искать что-то в кармане.

— Ну, долго искать будешь?

Красноармеец нашел наконец нужную бумажку и таким же равнодушным, как и глаза его, голосом сказал:

— Самострельщики тут которые. На двор выходи. Следователь вызывает...

У Сеньки запрыгали буквы перед глазами. Он даже не расслышал, как произнесли его фамилию. Он встал и, ни на кого не глядя, вышел из палатки.

Потом он стоял перед каким-то лейтенантом с усиками. Лейтенант что-то спрашивал. Сенька отвечал. Потом лейтенант велел ему сесть. Он сел и стал вырывать из бинта белые ниточки — одну за другой. Голос у лейтенанта был тихий и спокойный, но говорил он очень по-городскому, и Сенька не все понимал. Слова лейтенанта как-то не задерживались в нем, проходили насквозь. Он сидел на траве, поджав по-турецки ноги, смотрел на круглое, розовое, чисто выбритое лицо лейтенанта, на тоненькие, как две ниточки, усики и ждал, когда ему разрешат уйти. И когда лейтенант встал и стал застегивать планшетку, Сенька понял, что разговор кончился, что ему можно идти, и тоже встал.

В палатку он не вошел. Он лег на траву под расщепленным дубом и пролежал там до самого вечера. Несколько раз подходил к нему Ахрамеев. Сенька делал вид, что спит. В последний раз Ахрамеев пришел и уселся рядом. Сенька лежал с закрытыми глазами, слушая, как возится и побряхтывает Ахрамеев, потом повернулся и посмотрел ему прямо в глаза:

— Чего тебе надо от меня?

Ахрамеев пожевал губами и криво улыбнулся:

— Как чего? Время настало...

— Какое время?

Ахрамеев опять криво усмехнулся:

— Какое время?.. Драпать время... Часа через два стемнеет... А тут село в трех километрах. Найдем дуру какую-нибудь и...

— Иди ты к...— Сенька сжал кулак.

Ахрамеев что-то еще хотел сказать, но запнулся, искоса как-то посмотрел на Сеньку, встал и, стяхнув с колен землю, быстро зашагал к палатке. Сенька перевернулся на живот и уткнулся лицом в согнутые руки.

Когда совсем стемнело, Сенька вернулся в палатку. Он долго стоял у входа, прислушиваясь, что делается внутри. Потом вошел. Николай уже спал, закрывшись шинелью. Сенька принес свежей воды из кухни, лег на свою солому и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Под утро он все-таки заснул.

Проснулся поздно, когда все уже позавтракали. У изголовья стоял котелок каши. Николай лежал и смотрел куда-то вверх. Сенька встал. Николай даже не пошевелился. Сенька вышел и принес чай. Потом тихо спросил Николая:

— Кушать будешь?

Николай ничего не ответил. Лежал и смотрел вверх.

Целый день Сенька пролежал под дубом. Когда вернулся, Николая уже не было. На его месте лежал другой. Котелок с остывшей кашей, нетронутый, стоял на прежнем месте.

7

До сих пор в палатке не знали, что Сенька самострельщик. То ли часовые об этом никому не говорили, то ли открытое, ясноглазое, с редкими оспинками лицо его не внушало подозрения, то ли просто каждый занят был самим собой и своими ранами — в палатке были в большинстве тяжелораненые, — но только никто ничего не знал.

И даже сейчас, когда тайна его раскрылась, нельзя было сказать, чтобы обитатели палатки обижали его или

как-нибудь недружелюбно относились к нему. Нет, этого не было. Но что-то неуловимое, какая-то невидимая стена выросла между Сенькой и окружающими. На вопросы его отвечали сдержанно и кратко. Сами в разговор не вступали. Раньше по вечерам бойцы просили, чтоб он спел что-нибудь — у него был несильный, но чистый, приятный голос, — и он пел им негромко, чтобы не мешать особо тяжелым, старые русские песни, которым отец учил его. Сейчас его не просили уже.

А как-то раз долго искали нож, чтобы нарезать хлеб, и хотя все знали, что у Сеньки есть замечательный охотничий нож с костяной ручкой в пупырышках, никто у него не попросил, а взяли у часового.

И Сенька молча лежал в своем углу, смотрел на ползающих по парусиновым стенам мух и прислушивался к все более приближающейся артиллерийской канонаде. Прибывшие раненые говорили, что немец будто где-то прорвался.

Вечером немецкий самолет сбросил на рошу несколько «трешоток». Раненые стали выползать из палатки. Сенька не шелохнулся.

Всю ночь мимо роши тянулась по дороге артиллерия. Сначала тяжелая на тракторах, потом поменьше, но тоже тяжелая. Сенька лежал на животе и смотрел из-под завернутой полы палатки, как ползут, громяхая по дороге, пушки, плетутся одна за другой подводы. Пехоты не было. Шла артиллерия. Всю ночь шла.

К утру какая-то часть завернула в рошу. Комбат и старший врач, потные и злые, бегали взад и вперед, ругались с артиллеристами. Но артиллеристы не слушали их и расставляли пушки вокруг палаток, забрасывая их ветками. Артиллеристы тоже были потные и злые, голоса были у них хриплые.

Целый день где-то совсем недалеко стреляли пушки.

Немецкие самолеты бомбили дороги и леса. По дороге шли раненые. И уже не одиночками, а группами — по два, по три, по пять человек.

Некоторые заходили в рошу — на дороге стоял указатель с красным крестом, — другие шли дальше, грязные, оборванные, с волочащимися по земле винтовками.

К вечеру медсанбат стал сворачиваться. Сняли палатки и сложили их на опушке. Откуда-то приехали большие, крытые брезентом машины.

Сенька взял свою скатку, котелок и, стоя у дороги, смотрел, как укладывают ящики в машину.

Артиллеристы одну за другой вытягивали свои пушки на дорогу.

Кто-то с большой сумкой на боку, кажется фельдшер из третьей палатки, пробежал мимо Сеньки.

— А ты чего, красавец, стоишь? Давай к большому дубу.

— А там что?

Фельдшер крикнул что-то непонятное и побежал дальше.

Сенька пошел к большому дубу. Там стояла шеренга человек в двадцать красноармейцев, и низенький майор в выцветшей солдатской пилотке и с большой рыжей, набитой бумагами полевой сумкой на боку говорил им что-то.

— На левый фланг... На левый фланг, — замахал он рукой Сеньке, направившемуся было к нему.

Сенька стал на левый фланг, рядом с долговязым, длинноусым бойцом. Голова у бойца была перевязана. Все стоявшие в шеренге были легкораненые: у кого рука, у кого голова, шея.

Майор прошел вдоль строя и записал в маленькую книжечку фамилию и имя каждого и из какой он части. Последним он записал Сеньку и сунул книжечку в карман.

— Зачем это он записывает? — спросил Сенька длинноусого. Тот осмотрел его с ног до головы.

— Первый день, что ли, в армии? Не знаешь, зачем записывают?

«Неужели кончат уже будут?» — подумал Сенька, и что-то тоскливое подступило к сердцу. Большая, забрызганная грязью машина, фыркая, выползла из кустов и остановилась под дубом. Все начали залезать в нее. Сенька тоже влез.

Майор выглянул из кабины и спросил:

— Все?

— Все,— ответило сразу несколько голосов из кузова.

— Поехали...— майор хлопнул дверцей.

Машина тронулась.

— Куда это нас везут? — спросил Сенька кого-то сидящего рядом на борту. Стало совсем уже темно, и лица превратились в белые расплывчатые пятна.

— На передовую, куда ж... — коротко ответил совсем молодой голос.

— На передовую? — Сенька почувствовал, как все в нем замерло.

— Не слышал, что ль, что майор говорил? В полк там какой-то. Пополнение. Добровольцев собрали из ходячих.

Сенька схватил соседа за руку. У того даже хрустнуло что-то.

— Врешь...

Сосед выругался и попытался отодвинуться:

— Пьяный, что ли? На людей бросаешься.

Сенька ничего не ответил. Он увидел вдруг над собой небо, страшно большое и высокое, увидел звезды, много звезд, совсем таких же, как дома, на Енисее, и ему вдруг страшно захотелось рассказать кому-нибудь, как хорошо у них там, на Енисее, гораздо лучше, чем здесь, как проснешься иногда утром и двери наружу не откроешь — все снегом замело...

Он ткнул соседа в бок:

— Ты откуда сам?

— Чего? — не расслышал сосед.

— Сам откуда, спрашиваю?

— Воронежский. А что?

— Да ничего. Просто так... А я вот из Сибири, с Енисея... — он сделал паузу, ожидая, что сосед что-нибудь скажет, но тот молчал, держась обеими руками за борт. — Река такая есть — Енисей. Не слыхал? Весной разольется — другого берега не видно, совсем море. А когда лед трогается, вот красота. Тут небось и реки не замерзают вовсе...

Боец ничего не ответил. Машина круто повернула, и все навалились на правый борт. Сенька плотнее надвинул пилотку, чтобы не снесло, расстегнул гимнастерку и вдохнул полной грудью свежий, напоенный запахом меда ночной воздух.

— Холодок, хорошо...

— Через час согреешься, — мрачно буркнул сосед и отвернулся.

Машина прибавила скорость.

Они ехали среди высоких нескошенных хлебов, сворачивая то вправо, то влево, через разрушенные села, через рощи и лесочки, наклоня головы, чтоб ветки не били по лицу. Ветер свистел в ушах, и где-то впереди, точно зарницы, вспыхивали красные зарева и медленно всплывали вверх и затем падали ослепительно яркие ракеты.

Потом они долго сидели у стенки какого-то полуразрушенного сарая, и где-то совсем рядом строчил пулемет и рвались мины, и курить им строго-настрого запретили, а немного погодя пришли какие-то двое и раздали им винтовки и гранаты.

Сенька винтовки не взял, только гранаты — шесть «лимонок» и две «РГД». Растыкал их по карманам и повесил на пояс.

Потом повели куда-то через огороды к речке. Посадили в траншеи. В траншее было пусто. Это были старые траншеи, они успели уже обвалиться и заросли травой.

«На той стороне, верно, немцы»,— подумал Сенька и спросил у сержанта, который их вел, немцы ли на той стороне.

— Немцы, немцы, а то кто же. Вчера мы там были, а сегодня — немцы. Вот сидите и не пускайте их сюда. Понятно?

И Сенька сидел и смотрел на тот берег и щупал гранаты в кармане, а потом вынул и разложил их все перед собой.

В груди его что-то дрожало, он думал о Николае, и ему хотелось обнять его изо всех сил и сказать, что сегодня что-то произойдет. Что именно, он и сам еще не знал, но что-то очень, очень важное...

8

Под утро на той стороне речки что-то заурчало. Но было темно, и ничего нельзя было разобрать. Потом перестало. Заквакали лягушки. Выползла луна. Где-то сзади, в траншее, послышался разговор. Двое командиров подошли к Сеньке. Один хромал и опирался на палочку.

— Какой роты, боец?

— А мы не с рот... Мы с медсанбата,— ответил Сенька и вытянул руки по швам.

— А-а-а...— неопределенно протянул хромой и, помолчав, спросил: — Танки где гудели?

Сенька указал рукой в ту сторону, откуда доносился звук.

— К мосту прут, сволочи,— сказал хромой.

Другой командир выругался. У него был хриплый, простуженный голос.

— А куда ж? Конечно, к мосту.

За рекой опять заурчало. Сначала тихо, потом громче и громче. Хромой облокотился о бруствер и приложил руку к уху:

— Штук десять, никак не меньше.

— Часа через три рассветет.

— Часа через три, а то и раньше.

— Ч-черт...

— Синявский что, убит?

— Убит.

— А Крутиков?

— И Крутиков... Эх, был бы Крутиков... К самому танку бы подполз и на мосту бы подорвал.

— И бутылки ни одной со смесью?

— Будто не знаешь...

Они помолчали.

— Пройдем во вторую, к Рагозину.

Они ушли.

Сенька проводил их глазами — некоторое время еще было видно, как мелькали их головы над траншеей, — и облокотился о бруствер. Луна поднялась уже высоко, и на той стороне был виден каждый домик. Они смешно лепились по самому откосу — берег был крутой. Чуть левее виднелась церковь. Из густой зелени выглядывала только маковка с крестом. Правее, вверх по течению, через реку тянулось что-то черное и плоское — должно быть, мост. Из-за домиков то тут, то там, осыпаясь золотым дождем, взвивались вверх ракеты и, осветив, как днем, белые домики и купы деревьев над рекой, шипя, гасли в камышах. Лениво строчили пулеметы. Красные и зеленые точки, догоняя и перегоняя друг друга, терялись где-то на этой стороне. Иногда около церкви начинал щелкать миномет,

а потом откуда-то сзади доносились разрывы мин. С нашей стороны никто не отвечал.

Один раз, когда взлетела ракета, Сенька увидел трех человек, бегущих к речке, и понял, что это и есть немцы. Он чуть-чуть не бросил в них гранату, но вовремя спохватился — речка была широкая, метров восемьдесят, никак не меньше.

Опять послышались чьи-то шаги по траншее. Сенька обернулся. Те же двое, что проходили недавно.

— Ну как? — спросил один из них, останавливаясь около Сеньки.

— Да ничего. Стреляют помаленьку, товарищ... — Сенька запнулся, не зная, как обратиться — было темно, и значки различия никак нельзя было разглядеть.

— лейтенант, — докончил за него командир и спросил, нет ли у него спичек.

— «Катюша» только, — ответил Сенька.

— Давай «катушу».

Сенька порылся в кармане, вытащил длинный, с полметра, фитиль, кремь, металлическую пластинку для высекания огня — все аккуратно завернутое в тряпочку — и протянул лейтенанту.

— Мы здесь рядом будем, — сказал лейтенант и прошел немного дальше по траншее.

Сенька опять облокотился о бруствер и стал смотреть на противоположный берег. Слышно было, как командиры долго высекали огонь — очевидно, не зажигался фитиль, — потом один из них спросил, который час.

— Тридцать пять второго.

Помолчали.

— Надо решение принимать. Через час будет поздно.

— Надо...

— Кого ж послать? У меня три человека всего. Два из них раненные, а Степанов... да что о нем говорить.

— А гранат сколько?

— Гранат хватит. С гаком хватит. Ящиков пять. Да бросать их надо умеючи... Нету Крутикова. А Степанов только полные штаны наделает.

Они долго молчали. Было видно только, как вспыхивают папиросы. Потом тот, что хромал, сказал:

— Значит... кому-то из нас. Или мне, или тебе.

— Куда тебе, с ногой-то...

— Не ногами же кидать. Руки здоровые. А ты левой и на десять метров не кинешь.

— Кину или не кину — другой вопрос, через час танки уже здесь будут.

И в подтверждение его слов за рекой опять заурчало.

Сенька пристально посмотрел в ту сторону, где урчало, ничего не увидел, собрал с бруствера гранаты, подтянул потуже ремень, расправил складки спереди, надел скатку через плечо и, засовывая гранаты в карман, подошел к командирам.

Где-то вдалеке пропел петух.

9

Первый танк неуверенно как-то вылез из-за полуобвалившейся хаты и, точно поколебавшись, идти дальше или не идти, медленно, переваливаясь с боку на бок, пополз к мосту. По нему никто не стрелял. Пушек в полку уже не было.

Танк медленно подполз к мосту. Остановился. Сделал три выстрела — снаряды разорвались где-то совсем недалеко, за спиной у Сеньки, — и пошел по настилу. Из-за хаты появился другой танк.

Сенька взял связку гранат и взвел центральную. Три другие связки лежали рядом на траве.

Танк медленно полз, громыхая гусеницами. Он был серый, и на боку у него был черный крест, обведенный белой краской. Рядом с крестом ярко-красным пятном выделялся какой-то нарисованный зверь с задранными лапами.

«Совсем как на картине,— вспомнил Сенька изображение танка, которое ему показывали, когда они еще в тылу были.— Вот там баки с горючим, там мотор... Первую, значит, под гусеницы, вторую в баки, а дальше...»

Сенька стал на одно колено. Другой ногой уперся в какой-то корень. Мешали ветки кустарника. Сенька осторожно отстранил их, потом взял связку гранат и проверил взвод.

Танк полз по мосту. Мост изгибался под ним, и, если б не грохот гусениц, вероятно, было бы слышно, как он скрипит.

Танк проехал три пролета. Осталось еще два. Сзади на мост въезжал уже другой. Третий полз по берегу.

Сенька посмотрел на небо — оно было чистое-чистое, без единого облачка,— на берег, на кусты, на ослепительно желтый песок у воды, стиснул зубы, размахнулся как можно сильнее и бросил связку прямо под гусеницы. Потом вторую... Потом встал во весь рост и бросил третью.

Гигантский клубок пламени взметнулся к небу.

С того берега застрочил пулемет.

Сенька припал к земле, нащупал рукой четвертую связку, взвел ее и тоже бросил. Она не долетела до моста, попала в воду. Громадный фонтан воды взвился к небу, и под Сенькой задрожала земля.

Танк горел, пуская клубы густого черного, как сажа, дыма. Какие-то люди бежали по мосту в обратную сторону. Второй танк пятился назад.

Сенька надвинул на брови пилотку и, согнувшись, побежал к видневшемуся сквозь сосенки белому домику.

Когда он подбегал уже к самому домику, сзади что-то оглушительно грохнуло. Сенька на бегу обернулся. Два пролета моста охвачены были огнем. Танка больше не было видно.

Клубящийся черный столб дыма медленно расплзался по ослепительно голубому небу.

1950

РЯДОВОЙ ЛЮТИКОВ

Бкак-то ночью я возвращался с передовой. Устал невероятно. Мечтал о сне — больше ни о чем. Приду, думаю, даже ужинать не буду, сразу завалюсь... Но вышло не совсем так.

Спускаясь в овраг на берегу Волги, я еще издали заметил, что возле моей землянки что-то происходит. Человек десять-пятнадцать бойцов толпились около входа в блиндаж.

— Что тут у вас?

— Да заболел вроде один, — ответил кто-то из темноты.

— В санчасть отправить, значит, надо. Чего стоите? Пополнение, что ли?

— Пополнение.

Получали мы его тогда — дело происходило в Сталинграде в конце января сорок третьего года — не часто и не густо. Человек по пятнадцать-двадцать в неделю, моментально расхватываемых батальонами. Тут же в овраге, как раз против моей землянки, пополнению выдавали тулупы, валенки, теплые заячьи рукавицы, оружие и отправляли на передовую.

Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся: Терентьев, мой связной.

— Симулянт...— Терентьев всегда был всем недоволен, на все ворчал и всех осуждал.— Нажрался чего-то и в «ригу» поехал. Напачкал только.

— Ладно. Позови Приймака. А бойцов давайте-ка к штабу... А то подорветесь здесь на капсюлях. Живо...

Бойцы, ворча, поплелись к штабному блиндажу. У входа в землянку остался только больной. Он сидел на корточках, обхватив колени руками, и молчал, уставившись в землю.

— Что с тобой?

Он медленно поднял голову и ничего не сказал. Его опять стошнило.

— Заведи его в землянку,— сказал я.— А я в штаб и сейчас же назад. Приймаку скажи, чтобы градусник захватил.

Когда я вернулся из штаба, Приймак, фельдшер, сидел уже в землянке, и Терентьев поил его чаем.

— Ну, что у него?

— А бог его знает,— отхлебывая горячий чай, сказал Приймак.— Отравился, должно быть. Дай-ка градусник, орел.

Боец полез за пазуху и с трудом вытащил из-под всех своих гимнастеров и телогреек хрупкую стекляшку. Вид у него был плохой — лицо серое, небритое, губы сухие, спутанные черные волосы лезли из-под ушанки на глаза. На вид ему было лет двадцать пять, не больше.

Приймак глянул на градусник и встал.

— Тридцать восемь и пять. Пусть полежит пока... После посмотрим.

Боец тоже встал, придерживаясь рукой за койку.

— Давно заболел? — спросил я.

— С утра...

- А чем кормили?
- Горох... Консервы...
- А раньше болел?
- Да как сказать... Не очень.

Отвечал он односложно, тихим, глухим голосом, не глядя на нас.

— Что же на том берегу не сказал, что болен? — спросил Приймак.

Боец поднял глаза — черные, усталые, лишенные веселого блеска глаза ничем не интересовавшегося человека, — но ничего не сказал.

— Симулянт, одно слово, — пробурчал Терентьев, сгребая остатки сахара со стола в консервную банку. — Набил градусник, и все...

Приймак цыкнул на Терентьева:

— Много понимаешь ты в медицине, — и повернулся ко мне: — Консервы. Факт, что консервы... Пускай полежит денек...

Но Лютиков — так звали этого бойца — пролежал не денек, а целую неделю. Первые два дня лежал у меня — в блиндаж моих саперов угодила мина, и пришлось его чинить, — лежал молча, подложив мешок под голову и укрывшись до подбородка шинелью. Смотрел не мигая в потолок черными усталыми глазами. Почти не говорил, ничего не просил, не жаловался. Раза три, обычно после еды, его тошнило, и Терентьев, убирая за ним, без умолку ворчал и швырялся предметами. Потом Лютиков перешел во взводный блиндаж, и за иными делами я совсем забыл о его существовании. Напомнил мне о нем Черемных, наиболее грамотный из моих бойцов, исполнявший обязанности замполита.

— Отправили бы вы, товарищ старший лейтенант, куда-нибудь этого самого Лютикова. Работать не работает, и пользы от него никакой...

Помкомвзвода написал направление в госпиталь, но тут как раз подвернулась какая-то срочная работа, и Лютикова оставили сторожить блиндаж.

Прошло еще несколько дней. Во взводе у меня выбыло сразу три человека и осталось четыре, вместе с помкомвзводом. Командир взвода две недели уже как лежал в медсанбате. А работы как раз подвалило. Немцы разбили НП, и в одну ночь надо было его восстановить. Помкомвзвода, усатый, деловитый и сверхъестественно спокойный Казаковцев, пришел ко мне и говорит:

— Разрешите Лютикова на ночь взять. Майор велел в три наката НП делать и рельсами покрыть. Боюсь, не управимся.

— А он что, выздоровел?

— А бог его знает. Молчит все. Курить, правда, сегодня попросил. А раньше не курил. И обедать вставал.

— Что же, попробуйте.

Под утро я пошел посмотреть, как идут дела. Бойцы кончили укладку наката и засыпали его снегом. Казаковцев потирал руки:

— Управились-таки, товарищ инженер. В самый раз, в обрез. Через час уже светать будет.

Я спросил, как Лютиков. Казаковцев поморщился:

— Никак. Возьмет бревно, полсотни метров протащит и как паровоз дышит.

— Завтра же в санчасть отправьте.

На обратном пути мы зашли на КП третьего батальона — начался утренний обстрел. Решили пересидеть.

Комбат-три Никитин — здоровенный, краснолицый, в кубанке набекрень — распекал своего начальника штаба:

— Третий раз уже приказ приходит. Третий раз, понимаете? А ты хоть бы хны... Начальник штаба называется. Адьютант старший... Бумажки все пишешь, донесе-

ния... А думать кто будет? Я? Замполит? У нас и так работы хватает.

Начальник штаба — сутулый, длиннолицый, с красными от бессонницы глазами — молча сидел и рисовал какие-то крестики на полях газеты.

— Ты понимаешь, инженер, третий раз приказ приходит — пушку эту чертову подорвать. Под мостом. А он и в ус не дует... Бумажки все пишет. Я целый день на передовой. Крутиков тоже. А он сидит себе в тепле да по телефону только: «Обстановочку, обстановочку». Вот тебе и обстановочка... Дохнуть не дает пушка окаянная...

Пушка, о которой говорил Никитин, давно уже не давала ему покоя. Немцы втащили ее в бетонную трубу под железнодорожной насыпью и днем и ночью секли никитинский батальон с фланга. Подавить ее никак не удавалось — боеприпасов в полку было в обрез, а десяток выпущенных по ней снарядов не причинил ей никакого вреда. Сейчас Никитин вернулся от командира полка после основательной головомойки и не знал, на ком сорвать злость.

Никитин набросился на меня:

— Тоже инженер называется... В газетах про вас, саперов, всякие чудеса пишут — и то взорвали, и то подорвали, а на деле что? Землянки начальству копаете.

Он встал, выругался и зашагал по блиндажу.

— Набрал себе здоровых хлопцев и трясется над ними... Снимут три-четыре мины — и сейчас же домой.

Он остановился, сдвинув кубанку с одного уха на другое.

— Ну, ей-богу же, инженер... Помогите чем-нибудь. Вот тут вот сидит у меня эта пушка. — Он хлопнул себя по шее. — Долбаёт, долбаёт — спасу нет. Снарядов не хватает, подавить нечем... Взорви ее, сволочь проклятую. Ты же сапер. Дохнуть ведь не дает. Честное слово...

В голосе его прозвучали жалобные нотки.

— У меня всего три человека — сам видишь. Пропадут — что я делать буду? Ты же мне не пополнишь...

— Ну одного, одного только человека дай. А помощников я уж своих выделю. Общее же дело, не мое, не личное.

— Где я тебе этого одного достану? Трех вчера потерял. Куница в медсанбате, сам знаешь.

— А эти? — он подбородком кивнул в сторону угла, где сидели и курили саперы.

— Эти мне самому нужны. Один — минер, другой — плотник, третий — печник... Вот и все...

— А четвертый? Связной, что ли?

— Не связной, а так... Консервами отравился.

— Знаем мы эти консервы... — и, повернувшись к саперам, громко спросил: — Кто объелся, сознавайся?

Лютиков встал.

— Подойди, не бойся.

Лютиков подошел. Нескладный, неестественно толстый от надетой поверх фуфайки шинели, он стоял перед Никитиным, расставив тонкие, до самых колен обмотанные ноги и ковырял лопатой землю между ног.

— Что же у тебя болит? А?

Лютиков недоверчиво посмотрел на комбата, точно не понимая, чего от него хотят, и тихо сказал:

— Нутро.

— Так и знал, что нутро. Всегда у вас нутро, когда воевать не хотите.

Лютиков, подняв голову, внимательно, не мигая, посмотрел на Никитина, пожевал губами, но ничего не сказал.

— Ну, а пушку подорвать можешь?

— Какую пушку? — не понял Лютиков.

— Немецкую, конечно. Не нашу же...

— А где она?

— Ты мне скажи, можешь или нет. Чего я зря объяснять буду.

— Ладно,— перебил я Никитина.— Хватит жилы тянуть из человека. Поправится, тогда... Да он к тому же и не сапер. А если тебе действительно саперы нужны, я могу через дивинженера взвод дивизионных саперов вызвать.

— Ты мне еще из Москвы саперов выпиши... Ну тебя...

Я встал.

— Казаковцев, поднимай людей.

Саперы зашевелились.

Лютиков стоял и ковырял землю лопатой.

— Давай, Лютиков,— крикнул Казаковцев,— без нас тут спрячутся...

Лютиков взял свой мешок и, согнувшись, вылез из землянки. На дворе светало. Надо было торопиться.

Я совсем уже было заснул, закрывшись с головой шинелью, когда услышал, что в дверь кто-то стучится.

— Кто там? — буркнул из своего угла Терентьев.

— Старший лейтенант спят уже? — раздалось из-за двери.

— Спят.

— Кто это? — высунул я голову из-под шинели.

— Да все этот... Лютиков.

— Чего ему надо, спроси.

Но Терентьев не расслышал меня или сделал вид, что не расслышал.

— Спят старший лейтенант... Понятно? Утром приходишь. Не горит.

Я смертельно хотел спать, поэтому, разделив мнение Терентьева, повернулся на другой бок и заснул.

Утром, за завтраком, Терентьев сообщил мне, что Лютиков раза три уже приходил, спрашивал, не проснулся ли я.

— Позови-ка его.

Терентьев вышел. Через минуту он вернулся с Лютиковым.

— В чем дело, рассказывай.

Лютиков замялся, неловко козырнул.

— Я насчет этой... — с трудом выдавил он из себя, — пушки той...

— Какой пушки?

— Что комбат давеча говорил...

— Ну?

— Подорвать, говорил комбат, ее надо.

— Надо. Дальше?

— Ну, вот я и того... решил, значит...

— Подорвать, что ли? Так я тебя понял?

— Так... — еле слышно ответил Лютиков, не подымая головы.

— Но ты и тола-то еще не видел, зажигательной трубки. А еще туда же, взрывать!

— Это ничего, товарищ старший лейтенант, что не видал, — в голосе его послышался упрек. — Обидел он меня сильно.

— Кто обидел?

— Комбат Никитин. Все вы, говорит, на нутро жалуетесь, когда воевать не хотите.

Я рассмеялся.

— Чепуха, Лютиков. Это он так брякнул, для смеху. Все мы знаем, что ты действительно нездоров. Сегодня в санроту пойдешь. Скажи Казаковцеву, у него направление есть. Ступай полечись.

Лютиков ничего не сказал, только посмотрел на меня исподлобья, неловко повернулся, споткнувшись о валявшиеся на полу дрова, и вышел.

Целый день я пробыл в саперном батальоне на инструктивных занятиях. Вернулся поздно. В дверях штабной землянки столкнулся с Казаковцевым.

— Чего ты здесь?

— Трубы майору чинил. Печка дымит.

— Исправил?

— А как же.

— Меня майор не спрашивал?

— Спрашивать не спрашивал, но там как раз комбат Никитин. Вас ругает, что пушку не хотите подорвать.

— Пусть говорит. Лютикова отправили?

Казаковцев только рукой махнул:

— Его отправишь! Выздоровел, говорит, я уже. Совсем выздоровел.

— Вот еще несчастье на нашу голову!

— Я его и так и этак — ни в какую.

— Бойцы в расположении или на задании?

— Во втором батальоне, колья заготавливают.

— Вернутся — пошлешь двоих с ним в санчасть. Пусть там решают, выздоровел он или нет. Ясно? Надоела мне эта канитель.

Разговор на этом кончился. Я постучался и вошел к майору. Он сидел на кровати в нижней рубашке и разговаривал с Никитиным.

— Вот, жалуется на тебя комбат, — сказал он, показав мне кивком на табуретку — садись, мол. — Пушку подорвать, говорит, не хочешь.

— Не не хочу, а не могу, товарищ майор.

— Почему?

— Людей нет.

— Сколько их у тебя?

— Трое и помкомвзвод.

Майор почесал голую грудь и вздохнул:

— Маловато, конечно.

— Не три у него, а четыре, — резко сказал Никитин, не глядя на меня.

— Четвертый не сапер, товарищ майор.

Майор искоса посмотрел на меня.

— А тут твой помкомвзвод усатый говорил, что этот самый «не сапер» сам предлагал пушку подорвать. Так или не так?

— Так, товарищ майор.

— Почему не докладываешь? А? — и вдруг разозлился. — Надо подорвать пушку, и все! Понял? А ну, зови его сюда. Скажи часовому.

Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы и сразу как-то скис. У него была слабость к лихим солдатам — поэтому он и Никитина любил, всегда перетянутого бесконечным количеством ремешков, горластого задиру, — а тут перед ним стоял неуклюжий, вялый Лютиков со съехавшим на бок ремнем и развязавшейся внизу обмоткой.

Майор встал, пристегнул подтяжки и подошел к Лютикову:

— Вид почему такой? Обмотки болтаются, ремень на боку, щетина на щеках.

Лютиков густо покраснел. Наклонился, чтобы поправить обмотку.

— Дома поправишь, — сказал майор. — А ну-ка, посмотри на меня.

Лютиков выпрямился и посмотрел на майора.

— Я слышал, что пушку берешься подорвать? Правда?

— Правда, — совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора.

— А вот старший лейтенант, инженер, говорит, что ты саперного дела не знаешь.

Лютиков чуть-чуть, уголками губ, улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице.

— Плохо, конечно. Но пушку подорву.

Даже Никитин засмеялся:

— Силен мужик...

— Ну, а ползать умеешь? По-пластунски? — спросил майор.

Лютиков опять кивнул головой.

Вечером мы вместе с Лютиковым вязали заряды. Три заряда по десять четырехсотграммовых толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в заряд, как зажигается бикфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими движениями. В овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы, когда он зажигал шнур.

Он даже осунулся за эти несколько часов.

В два часа ночи Терентьев разбудил меня и сказал, что луна уже зашла и Лютиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает.

Я всунул ноги в валенки, надел фуфайку и вышел во двор. Лютиков ждал у входа с мешком за плечами.

— Готов?

— Готов.

Мы пошли. Ночь была темная, снег растаял, и за три шага ничего не было видно. Лютиков шел молча, взвалив мешок на спину. При каждой пролетающей мине нагибался. Иногда садился на корточки, если очень уж близко разрывалась.

Никитин ждал нас на своем КП.

— Водки дать? — с места в карьер спросил он Лютикова, протягивая руку за фляжкой.

— Не надо, — ответил Лютиков и спросил, кто покажет ему, где пушка.

— И нетерпелив же ты, дружок, — засмеялся Ники-

тин.— Народ перед заданием обычно штук десять папирос выкурит, а ты вот какой... непоседа...

Лютиков, как всегда, ничего не ответил, наклонился над своим мешком, потом попросил веревку, чтобы обмотать его.

— Ты дырку в мешке сделай,— сказал я,— и щепочку вставь. А на месте уже трубку вставишь.

Лютиков отколупнул от полена щепочку, обтесал ее, вставил сквозь мешковину в отверстие шашки. Потом снял шинель, сложил ее аккуратно и положил около печки. Надел маскхалат. Зажигательную трубку свернул в кружок и положил в левый карман. Запасную — в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички, сунул в карман брюк. Делал он все медленно и молча. Лицо его было бледно.

В блиндаже было тихо. Даже связисты умолкли. Никитин сидел и сосредоточенно, затяжка за затяжкой, докуривал цигарку. За обшивкой звенел сверчок — мирно и уютно, как будто и войны не было.

— Ну что, пошли? — спросил Лютиков.

— Пошли.

Мы вышли — я, Никитин и Лютиков. Шел мелкий снежок. Где-то очень испуганно фыркнул пулемет и умолк.

Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь. Миновали железнодорожную будку. Лютиков шел сзади с мешком и все время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь. Он отказался.

Дошли до самого левого фланга девятой роты и остановились.

— Здесь,— сказал Никитин.

Лютиков скинул мешок.

Впереди ровной белой грядкой тянулась насыпь. В одном месте что-то темнело. Это и была пушка. До нее было метров пятьдесят-семьдесят.

— Смотри внимательно,— сказал я Лютикову,— сейчас она выстрелит.

Но пушка не стреляла.

— Вот сволочи,— выругался Никитин, и в этот самый момент из темного места под насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и разорвался где-то между седьмой и восьмой ротами.

— Видал где?

Лютиков пощупал рукой бруствер, надел рукавицы, взвалил мешок на плечи и молча вылез из окопа.

— Ни пуха ни пера,— сказал Никитин.

Я ничего не сказал. В такие минуты трудно найти подходящие слова.

Некоторое время ползущая фигура Лютикова еще была видна, потом слилась с общей белесой мутью.

— Хорошо, что ракет здесь не бросают,— сказал Никитин.

Пушка выстрелила еще раз. Потом еще два раза, почти подряд. Где-то неподалеку треснула одиночная мина.

Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. А казалось, что уже полчаса. Потом еще три, еще две...

Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с Никитиным инстинктивно нагнулись. Сверху сыпались комья мерзлой земли.

— Молодчина! — сказал Никитин.

Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри.

Немцы открыли лихорадочный, беспорядочный огонь. Минут пятнадцать-двадцать длился он. Потом стих. Часы показывали половину четвертого.

Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно. Бело и мутно. Опять сели на корточки.

— Погиб, вероятно,— вздохнул Никитин. Он встал и облокотился о бруствер.— А пушка-то молчит. Ничего не видно...

Я тоже встал — от сидения замерзли ноги.

— А ну-ка, посмотри, инженер,— толкнул меня в бок Никитин.— Не он ли?

Я посмотрел. На снегу между нами и немцами действительно что-то виднелось. Раньше его не было. Никитин оглянулся по сторонам и решительно полез через бруствер.

Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна рука протянута была вперед, другая прижата к груди... Шапки на нем не было. Рукавиц тоже. Запасная зажигательная трубка выпала из кармана и валялась рядом.

Мы втащили его в окоп.

Лютиков умер. Три малюсеньких осколка, крохотные, как сахарные песчинки (я видел их потом в медсанбате), попали ему в брюшину. Ему сделали операцию, но осколки вызвали перитонит, и на третий день он умер.

За день до его смерти я был у него. Он лежал бледный и худой, укрытый одеялом и шинелью до самого подбородка. Глаза его были закрыты. Но он не спал. Когда я подошел к его койке, он открыл глаза и слегка испуганно посмотрел на меня:

— Ну?..

В голосе его чувствовалась тревога, и в черных глазах мелькнуло что-то, чего я раньше не замечал, какая-то острая, сверлящая мысль.

— Все в порядке! — нарочито бодро и всеми силами стараясь скрыть фальш этой бодрости, сказал я.— Подлепись мало-мало — и обратно к нам.

— Нет, я не об этом...

— А о чем же?

— Пушка... Пушка как?

В этих трех словах было столько волнения, столько тревоги, столько боязни услышать в моем ответе не то, о чем он все эти дни думал, что, если б он даже и не подорвал

пушку, я б ему сказал, что подорвал. Но он подорвал-таки ее, и не только ее, а и часть железобетонной трубы, так что немцы ничего уже не могли установить там.

И я ему сказал об этом.

Он прерывисто вздохнул и улыбнулся. Это была вторая и последняя улыбка, которую я видел на его лице. Первая — тогда, у майора в землянке, вторая — сейчас. И хотя они обе почти совсем не отличались одна от другой — чуть-чуть только приподнимались уголки губ, — в этой улыбке было столько счастья, столько... Я не выдержал и отвернулся.

Через несколько дней немцы оставили Мамаев курган. Их загнали за овраг Долгий.

Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку, вернее, остатки искореженного лафета, и приклеили маленькую фотографическую карточку, найденную у Лютикова в бумажнике...

В день ранения я составил на Лютикова наградной материал. Награда пришла месяца два спустя, когда нас перебросили уже на Украину.

У Лютикова не было семьи, он был совершенно одинок. Орден его, боевой орден Красного Знамени, до сих пор хранится в полку.

НОВИЧОК

Самой интересной из всех принесенных замполитом новостей была та, что в наш полк должен приехать писатель. Когда и какой именно, Чувыкин не знал — сказали в политотделе, что придет, и все, и чтоб хорошо встретили и показали, что надо.

Новость распространилась в полку моментально.

Шел пятый месяц обороны — срок вполне достаточный, чтобы привыкнуть и даже надоест друг другу. Каждый день одни и те же лица, один и тот же пейзаж: сзади — Волга, спереди — курган; одни и те же тропинки на передовую, одни и те же разговоры, мечты и желания: «Вот как прогоним фрица, тогда...» На передовой затишье. Приводим себя в порядок, совершенствуем, как пишем в донесениях, оборону. Немцы, очевидно, тоже. В общем — тишина и скука. Любому новому человеку обрадуешься, лишь бы только извне откуда-нибудь появился, а тут вдруг писатель, настоящий писатель.

Живого писателя у нас никто не видел, в моем саперном взводе во всяком случае, да и в других подразделениях, вероятно, тоже, но «книжки почитать» любили.

На первый взгляд это может показаться даже неправдоподобным: Сталинград, война, бомбежки, чертова гибель

тяжелой работы, особенно у саперов, — а вот читали. Связисты — те вообще больше других читают. Я знал одного, который всю «Войну и мир» прочитал на передовой в КП батальона, в каких-нибудь двухстах метрах от противника: сидит себе с подвешенной к уху трубкой, кричит в нее свои «граниты» и «мраморы», а глаза в книжку. Но читающие саперы — явление довольно редкое. И все-таки читали. Урывками, в минуты отдыха, главным образом, конечно, легкораненые, на день-два выпадавшие из строя.

Библиотеки в полку у нас не было, но кое-какие книжонки все-таки водились. Найдены они были в разрушенных домах, и похвастаться подбором, скажем прямо, было трудно. Моя библиотечка состояла, например, из двух номеров роскошного журнала «Золотое руно» за 1908 год, невероятно растрепанной, без половины страниц книжки Луи Жаколио «В трущобах Индии», старенького томика Пушкина, однотомника Чехова и книжки Мгеброва об Орленеве и Комиссаржевской. У химиков была, если не ошибаюсь, вторая часть «Анны Карениной», а у разведчиков почему-то «Божественная комедия» Данте в прекрасном издании с иллюстрациями Дорэ.

И бойцы все это читали. Кстати, Луи Жаколио с его сногшибательными приключениями, тайнами и браминами не производил на бойцов никакого впечатления — «все это неправда, в жизни такого не бывает», — а самыми популярными, по несколько раз перечитываемыми вещами были «Домик в Коломне», «Сказка про Балду» и чеховский «Ванька Жуков». Особенно огорчало солдат то, что письмо так и не дойдет до дедушки. Сагайдак, наиболее близко принимавший к сердцу все прочитанное, возвращая мне книжку, сказал даже:

— И хоть бы обратный адрес догадался написать. А то что ж это — и ни туда и ни сюда. Обидно же...

Сагайдак вообще относился ко всему прочитанному как к чему-то действительно происшедшему и очень сокрушался, если понравившийся ему герой вдруг умирал или если с ним случалось что-нибудь плохое. Интересовало его и то, как это вот писатель пишет и как это он может сразу за нескольких людей думать и разговаривать. Особенно поразила его чеховская «Каштанка».

— Подумать только, как будто сам в собачьей шкуре побывал. А? И чего она думает, и чего делает — все знает, тютелька в тютельку...

И вот, оказывается, должен приехать настоящий писатель.

— А что же он будет у нас делать? — спрашивали бойцы.

— Посмотрит, как мы живем, воюем, — отвечал я, — а потом напишет.

— Про нас?

— Про вас.

— И про вас?

— Может, и про меня, если найдет интересным.

— И куда же, в газету?

— В газету, в журнал, а может, и отдельной книжкой.

— Вот так вот про Сагайдака, про Казаковцева, про Шушурина — и прямо в книгу?

— Прямо в книгу.

— Интересно!

Сагайдак долго сидел молча, наморщив свой не привычный еще к морщинам лоб, потом спросил:

— А вот скажите, товарищ старший лейтенант, как же это он... Ну, вот обо мне захочет, например, написать. Про что же он может написать?

— Ну, о том, как ты, например, позавчера вместе с Шушуриным мины в овражке ставил.

— А он откуда знает?

— Ты ему расскажешь.

— Так я ж наврать могу.

Все рассмеялись.

— Чего вы смеетесь? — Сагайдак даже обиделся.—

Ну, не позавчера, а первый, скажем, раз, когда я мины ставил... Так я ж чуть... Да что говорить — дрейфил дай бог как. А расскажу я ему об этом? Нет. И ты не расскажешь. И никто не расскажет. Вот. А вы смеетесь...

— А он и сам догадается,— вставил Шушурин.— Если писатель хороший, так сам догадается. Правда ведь, товарищ инженер?

Шушурин был наиболее развитым из всех бойцов. Он окончил семилетку, работал долгое время слесарем на одном из крупных заводов, довольно много читал, в моем взводе исполнял обязанности замполита. Сагайдак — совсем молодой деревенский парень — был его корешком, воспитанником, так сказать. Оба были комсомольцами и на все задания ходили вместе — так уж было заведено. Для Сагайдака Шушурин был авторитетом, но даже его суждения он никогда не принимал на веру, все ему надо было доказывать. Так и сейчас.

— Догадается... А как он догадается, если на собственной шкуре не испытал? Он ведь и мины живой не видал. Писатель, может, и хороший, а сапер — никакой.

Сагайдак торжествующе оглядел всех нас. Шушурин не сдавался:

— Лев Толстой вот с Наполеоном не воевал, а как про ту войну написал, а?

— Так то ж Лев Толстой!..

— А может, и к нам Лев Толстой приедет? Новый какой-нибудь. Почему ты знаешь?

Сагайдак не нашелся, что ответить, но по выражению его лица было видно, что он остался при своем мнении. На этом спор кончился — надо было идти на задание.

На следующий день я не без удивления обнаружил у бойцов подворотнички, а в землянке был наведен такой порядок, что даже глазам не верилось. Лопаты все смазаны, винтовки в пирамиде, котелки вычищены и развешаны по гвоздикам, а на стенке, кроме плаката «Бей насмерть!» с изображением стреляющего пулеметчика, появилось несколько открыток с видами Москвы и почему-то Ласточкиного гнезда в Крыму.

Но писатель так и не приехал. В полку поговорили-поговорили о нем и перестали. Затишье кончилось. Началось наступление. Это после того, как немцы отвергли наш ультиматум.

Командир полка вызвал всех командиров к себе и давал задание. Командиры слушали и молчали. Людей в полку не хватало, а задание было серьезное. Каждому казалось, что его задание особенно сложно, сложнее, чем у других. Мне тоже так казалось. Во взводе семь человек, а нужно в каждый батальон дать по два бойца и отрыть к тому же заваленный ход сообщения к застрявшему танку. Танк этот — подбитая «тридцатьчетверка» — стоял как раз посредине нейтральной зоны, и вот уже сколько времени из-за него шла война. Сейчас он был у немцев. Приказано отбить. От нас к танку тянулся ход сообщения, довольно глубокий, но основательно разбитый. В двух-трех местах его завалило, земля промерзла, лопатой ничего не сделаешь. Лучше всего было бы эти места подорвать, но это выдало бы нас и могло сорвать наступление. Предстояло всю ночь кайлить киркой под самым носом у немцев. А кому?

Ко мне подошел капитан Барщ, помощник начальника штаба, — мы с ним прибыли в полк в один и тот же день, и поэтому, возможно, он благоволил ко мне.

— Пришло двенадцать человек пополнения, — шепнул

он мне.— Иди скорей в штаб, возьми себе троих, пока не расхватали комбаты.

Я помчался в штаб. Дежурный куда-то вышел. В тесной, невероятно натопленной землянке, заполнив ее до предела, стояли и сидели бойцы. Их еще не переодели, и вид у них — в основном это была молодежь двадцать четвертого, двадцать пятого годов рождения — был разношерстный и далеко не воинственный. Я отобрал троих постарше, отвел их в распоряжение саперов, а сам вернулся к командиру полка.

После совещания зашел в нашу землянку. Бойцы уже были готовы, новички переодевались — пополнению давалось все новое, от нательной рубахи до тулупа и валенок. Стоя у печки и прыгая на одной ноге, влезали в подштанники.

Земляные работы требуют большой физической силы и выносливости, поэтому я с чисто профессиональной стороны рассматривал новичков. Двое были ничего, достаточно мускулистые и, очевидно, привыкшие к физической работе, третий же — тонкорукый и узкогрудый, с выдающимися лопатками — меня мало обрадовал: такой после десятой лопаты скиснет. Я решил оставить его стеречь землянку, — все до единого уходило на передовую, — но в последнюю минуту оказалось, что один из моих бойцов, Филиппов, вывихнул руку, и я вынужден был оставить его, а не новичка.

Я отозвал Сагайдака и Шушурина.

— Придется мне сегодня вас разлучить. Новичков в батальоны не пошлешь, кому-то из вас надо с ними идти на ход сообщения.

— Что ж поделаешь, — вздохнул Шушурин. — Кому ж куда?

Сагайдак был рекордсменом земляных работ, поэтому я направил его на ход сообщения.

— Закругляйся там, хлопцы! — крикнул он все еще возившимся у печки новичкам. — Слышь? А то копаются, копаются, точно на свадьбу.

Голос у него был недовольный, видно было, что компания его мало устраивала.

Я пошел к дивизионному инженеру уточнять задание по разминированию, а когда вернулся, в землянке никого уже не было — один только помкомвзвод Казаковцев сидел за столом и, слюнявя карандаш, — от этого усы у него всегда были с лиловым оттенком, — переписывал начисто сведения о пополнении.

— Теперь нас никто уже не обманет, товарищ инженер. Собственного бухгалтера заимели.

— Какого бухгалтера?

— А вот этот, из новеньких, что в плащ-палатке пришел, бухгалтер, оказывается. Вот, смотрите, — он указал на листок, — «Масляев, Николай Иванович, 1911 года рождения, русский, уроженец города Москвы, образование — высшее, незаконченное — три курса финансово-экономического института». Видали?

— М-да... Он там накопает...

Я не был поклонником бойцов с высшим образованием, даже с незаконченным. Был у меня уже один такой — тоже что-то вроде экономиста. Попал ко мне во взвод и сразу же попросился на должность писаря, хотя у меня такой сроду не было.

— Так сделайте! — Он даже удивился. — Я вам всю отчетность на такую высоту поставлю, что вы только ахнете.

Попросив разрешения закурить, он стал сетовать на тех командиров, которые по неразумению своему используют специалистов на черной работе, и тут же признался, что очень обрадован встрече со мной, человеком интеллигентным, который, конечно же... Я перебил его и в самых веж-

ливых выражениях дал понять, что писарь мне абсолютно не нужен, а всю отчетность на необходимую высоту подымает помкомвзвод. На этом разговор кончился.

Пробыл у меня этот «экономист» около двух недель, из них дней десять проболел ангиной, потерял лопату, раз пять приходил ко мне жаловаться на бойцов, которые съели привезенное им с собой сало и обложили еще его матом, — одним словом, так надоед мне, что я отправил его на левый берег с запиской помощнику командира полка по хозяйности — пусть делает с ним что хочет. Там его тоже кто-то обидел, и, кажется довольно основательно, так как он попал в медсанбат. Что дальше с ним случилось, не знаю, но, так или иначе, открытие Казаковцева не очень меня обрадовало.

Только на следующий день вечером увидел я своих саперов. Усталые, но довольные, — танк удалось захватить и сейчас под ним стоял уже наш пулемет, — они сидели в своем блиндаже и, балагурия и весело переругиваясь, чистили оружие. Потерь во взводе не было, только слегка царапнуло пулей Шушурина, и настроение у всех было приподнятое, как и всегда после удачно проведенной операции. Когда я вошел, Сагайдак с азартом и замашками настоящего командира отделения, которым он еще не был, но кем мечтал стать, объяснял Масляеву и другому, круглолицему, все время смотревшему ему в рот новичку, как надо разбирать винтовку. С часами в руках он стоял над ними, а те, торопясь и путая части, пытались ее собрать.

— Новичков вот обучаю, товарищ инженер. Военной справе, так сказать.

— Ну и как?

— Да ничего.

— Автоматизма вот, говорит, у нас нет,— вздохнул Масляев.

Он держал в руках затвор и, как все новички, свернув его, никак не мог повернуть обратно. Обе руки у него были обмотаны бинтами.

— Что это у вас? — спросил я.

— А это от кирки,— улыбнулся Масляев.— С непривычки.

— Мозоли натер,— пояснил Сагайдак.— Ручки-то городские. А вообще,— он наклонился ко мне,— могу доложить, работали хлопцы справно, жаловаться нельзя.

Масляев опять улыбнулся. У него была приятная улыбка, от которой его худое, со впалыми щеками, небритое сейчас лицо сразу как-то засветилось. Лицо его нельзя было назвать красивым — в нем была какая-то неправильность, которую трудно сначала было уловить: то ли слишком короткая верхняя губа, обнажавшая зубы, то ли несимметричные брови — и в тоже время оно чем-то привлекало, вероятнее всего, глазами: серьезными, чуть-чуть ироническими, отчего, когда он говорил, казалось, что он над вами посмеивается. На вид ему было лет тридцать (вчера он мне показался почему-то значительно старше), и ничего бухгалтерского в нем не было.

— Вы впервые на фронте? — спросил я.

— Вроде как впервые.

— Как это понимать — вроде?

— Так близко от немцев, во всяком случае, впервые.

— Ну и как?

— Т-так себе...— неопределенно сказал он, и все рассмеялись. Масляев тоже.

Я посидел, покурил, выслушал рассказ Сагайдака (он вообще не прочь был поговорить) о какой-то стычке с артиллерийскими разведчиками на передовой из-за блиндажа и, уходя, попросил кого-нибудь из солдат пройти со

мной — от разорвавшейся мины перекосило дверь землянки, и в щель страшно дуло, надо было исправить. Солдаты уже разулись, один только Масляев возился еще с чем-то в углу.

— Ну, как вам Сталинград? — спросил я его, когда мы вышли.

— Да как вам сказать. Не таким я его себе представлял.

— А каким же?

— Каким? — Он на минуту задумался. — А бог его знает. Не могу сейчас объяснить. С мыслями еще не собрался.

— А все-таки?

— Не выйдет сейчас, товарищ инженер. Слишком все это свежо, что ли, не знаю...

Мы довольно быстро поправили дверь. По окончании работы я предложил ему стакан чаю. Он отказался — спать, мол, хочется. Уходя, он посмотрел на стоявший в углу самовар и спросил:

— Сколько отсюда до передовой?

— Метров четыреста-пятьсот.

— Забавно.

Под койкой у меня лежали книги, видны были только корешки. Он указал на них.

— И читать успеваете?

— Не очень. Библиотечка для раненых главным образом.

Он попрощался и ушел.

На третий день Масляев уже почти ничем не отличался от других бойцов. С поразительной быстротой вошел он в нашу жизнь. Ему было трудно — натертые руки очень долго не заживали, а работать приходилось много и тяжело, — но он и виду не подавал. Не только не отлынивал от работы и не просился в писари или вообще на «чистую»

работу, которая у меня время от времени появлялась — разные схемы и планы, — наоборот, в каких-нибудь два-три часа ознакомившись с устройством наших и немецких мин, научился заряжать и разряжать их скорее, чем кто-либо во взводе, и уже на четвертый или пятый день, когда я посылая на передовую группу минеров, попросил послать и его.

— Успеете, куда вам торопиться, — сказал я, считая, что это он просто так, чтобы не думали, что он боится. — Пообвыкнете, пооботретесь, тогда уж и за мины. Дело все-таки ответственное и довольно опасное.

Он пожал плечами и как будто даже удивился.

— Через неделю оно не станет менее опасным, а начинать когда-то же надо. Ведь правда?

Я отправил его вместе с Казаковцевым и Сырцовым — лучшими минерами, на которых всегда можно было положиться. Вернулись они довольно скоро, замерзшие, но веселые.

— Ничего, толк будет, — подмигнул мне Казаковцев. — Малость мандражировал, но... В общем, порядок.

Сам же Масляев, заметно осунувшийся за эти несколько часов, признался, что дрожал как осиновый лист.

— Честное слово. Никогда даже не думал. Вставляю взрыватель, а пальцы не слушаются. Все мимо дырки попадаю. Черт знает что... — И покраснел.

Кругом стояли бойцы, но никто из них не улыбался. Очевидно, то, что он не побоялся при всех сознаться в своем страхе, понравилось им. На фронте вообще не прощается малейшее проявление трусости — в этом отношении солдаты народ жестокий, высмеять умеют, — но тут все поняли, что это не трусость, так же как и просьба отправить его на задание не фанфаронство, не бравада.

Вообще бойцы сразу полюбили Масляева. И полюбили какой-то очень трогательной любовью, сочетавшей в себе

уважение к нему как к старшему и более образованному с очень милой и иногда забавной заботой о нем как о человеке, который многого самого простого не знает, не умеет и на фронте благодаря этому может попасть в беду. Достаточно было посмотреть на Сагайдака, когда он обучал Масляева тесать бревно, чтобы сразу же понять их отношения. Масляев, весь красный, обливаясь потом, мелкими, неуверенными движениями тесал бревно, а здоровенный, косая сажень в плечах, Сагайдак, умевший делать все на свете, стоял над ним и поучал:

— Да ты не бойся, не бойся. Смелей. Ноги не отрубись.— И тут же перехватывал топор и быстрыми, точными ударами заканчивал бревно.— Видал? Теперь давай то. Да не держи ты топор, как свечку на свадьбе. Мах нужен, мах...

Или вечером в землянке, глядя, как Масляев, присев на корточки у печки, ковыряется с брюками, скажет:

— Ну кто так шьет, голова? Нитка в три аршина, заплатка гнилая. Дай-ка сюда.— И в полминуты ставил прекрасную, аккуратную заплату.

Однажды, когда Сагайдак с Масляевым пошли на склад получить лопаты, кто-то там придрался к Масляеву — то ли он толкнул случайно, то ли лопатой задел — и обругал. Сагайдак молча подошел к обидчику, снял с него ушанку и забросил в Волгу.

— Заберешь свой мат обратно — принесу, не забережь — пльви сам.

Пострадавший, смерив Сагайдака взглядом, молча полез за своей ушанкой.

А вечером, когда я отчитывал Сагайдака, он смотрел в землю и бурчал:

— Сопляк еще... Жалко, что вместе с ушанкой не выкупал. Что он против Масляева? Так, пшик какой-то, а туда же — матом...

Масляев тоже полюбил Сагайдака, иногда, правда, подсмеивался над ним, над его любовью похвастаться своей силой или умением и в шутку называл «бычком». Сагайдак никогда не обижался, хотя парень был вспыльчивый и во взводе его даже немного побайвались. Шушурин, я заметил, даже слегка ревновал своего корешка к Масляеву, но общих отношений это не портило.

Масляев был неразговорчив, любил больше слушать, чем говорить, но если уже начинал что-нибудь рассказывать, бойцов нельзя было от него оторвать. Говорил он негромким, слегка хриловатым голосом, без каких-либо внешних эффектов и красивых фраз. Видно было, что он много читал, много видел. Как-то само собой получилось, что он стал вести политзанятия. Я предложил ему «пост» замполита. Он наотрез отказался.

— Дело не в образовании, товарищ инженер. Дело в авторитете. Шушурин опытный боец, а я как солдат молокосос еще. У него большой авторитет, хотя он комсомолец, а я партиз. Всему свое время. Ограничимся пока тем, что есть.

Я согласился и замполитом его не назначил, но политзанятия Масляев продолжал вести. И если раньше, когда их проводил Шушурин, бойцы больше спали, чем слушали, то сейчас даже после тяжелого дня или ночи, когда не привыкший к физической работе Масляев буквально валился с ног, бойцы не давали ему покоя.

— Да брось ты укладываться. Успеешь еще поспать. Объясни-ка лучше, почему это Черчилль с Рузвельтом без Сталина встречались. Где-то там в Африке. Сегодня в газете было.

Масляев объяснил. И про встречу в Касабланке — почему там Сталина не было, и про объявление войны Ираком Германии («Где же это они воевать будут, когда Ирак где-то там у черта на куличках?»), и про Указ Верховного

Совета о введении погон (когда же их наконец введут и почему на новых солдатских гимнастерках не будет карманов).

Слава о сапере, который «рассказывает газеты», проникла в соседние подразделения — на занятиях стали появляться химики, огнеметчики, даже один раз пара разведчиков. Дошла она и до замполита полка Чувыкина.

— У тебя, я слышал, агитатор мировой появился? — сказал он мне как-то. — Пришли-ка его ко мне.

Но Масляев отнесся к этому предложению без особого энтузиазма: то на задание надо идти, то оружие почистить, то Чувыкина сейчас нет у себя — одним словом, явно отлынивал. Я не настаивал, боясь, что Чувыкин отберет его у меня, и на этом дело кончилось.

Был и еще один случай, который поставил меня в тупик. Мне нужно было срочно отправить в штаб карту оборонительных сооружений полка. Сам я не хотел туда идти, так как однажды взял там «Фортификации» Ушакова, обещал вернуть через день, а держал больше месяца и в конце концов потерял. Терентьев же, мой связной, был занят изготовлением холодца — где-то ему удалось добыть «потрошки», какие-то копыта и уши, — и мне не хотелось отрывать его от столь важного дела. Зашел к саперам. После ночной работы все спали, один только Масляев сидел у печки. Я попросил его отнести карту в штаб армии. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал после небольшой паузы:

— А обязательно надо идти?

Я удивился — конечно, надо. Он замялся.

— Ногу я вывихнул, ходить трудно...

Я послал Терентьева, но случай этот меня удивил: не в привычках Масляева было ссылаться на болезнь при получении приказа.

Вообще же Масляев был прекрасным, я бы сказал даже, образцовым бойцом — немножко слабоватым для сапера физически, но смелым, исполнительным и, главное, — это особенно бросалось в глаза и подкупало, — он никогда не хотел казаться лучшим, чем он есть. Это очень редко встречаемая черта. Он знал свои слабости и никогда их не скрывал, так же, как, зная свои сильные стороны, никогда их не подчеркивал.

Он, например, не переносил бомбежек. К минам, даже к разминированию вражеских полей, — а это самое опасное дело, — привык очень скоро, никогда не кланялся пулям (я даже сначала подумал, что он немного бравирует этим, но потом увидел, что это не так), на передовую ходил самыми короткими, хотя и наиболее обстреливаемыми тропами — одним словом, был по-настоящему храбрым человеком, а вот бомбежек боялся, и боялся смертельно.

Достаточно было появиться какому-нибудь «мессеру» или даже «раме», как он сразу же бледнел, и чувствовалось, что для него больших усилий стоит не залезать в щель.

— Вот боюсь я их, и все, что поделаешь. Сразу как-то сердце обрывается, вроде как тошнит... Даже когда за пять километров от тебя бомбят — все равно.

И ни один боец ни разу не подшутил над ним, хотя, будь на месте Масляева кто-нибудь другой, могли бы довести до слез. Кстати, того, предыдущего «экономиста» доводили-таки, и он не раз прибегал ко мне жаловаться. Но тот не только самолетов, тот всего боялся.

Так мы жили своей маленькой саперной семьей, никогда не превышавшей восьми-десяти человек, жили дружно, никогда не ссорясь и не обижаясь друг на друга. По ночам — на передовой, днем всегда находилась какая-нибудь работа у себя в овраге или на берегу. А бывало, что и просто отдыхали — на фронте и такое случается.

Потом нас перекинули правее, и мы стали воевать за сопку Безымянную — северный отрог Мамаева кургана. Людей в полку было мало, каких-либо особо сложных операций проводить мы не могли и ограничивались, главным образом, артиллерийским и минометным обстрелом, а мы, саперы, все теми же бесконечными НП. Минировать, слава богу, было не нужно — немцы давно уже не атаковали, а только огрызались.

Январь был на исходе. Начали поговаривать о весне. И, хотя до нее было довольно-таки далеко, говорить о ней было весело и приятно — никто не сомневался, что встретить ее мы будем уже не здесь, а где-нибудь там, под Харьковом, на Украине.

Двадцать шестого января — мы навсегда запомнили этот день — рано утром ворвался ко мне в землянку Казаковцев.

— Вставайте, товарищ инженер, вставайте! Фрицы драпанули!

— Что-о-о?

— Фрицы драпанули. Ушли за овраг Долгий. На Мамаевом никого нет. Вставайте скорей. Говорят, с Донским фронтом соединились.

Я вскочил. В овраге нашем никого уже не было — все ушли на Мамаев. Был ослепительно яркий, какой-то сказочный день. Все сияло: небо, Волга, начавший уже таять и потому чуть-чуть паривший снег, выкрашенные в белую краску и как-то весело постреливавшие среди развалин орудия, да и сами развалины стали как будто другими — не такими, как обычно, грустными и заброшенными. Мы не шли, мы бежали напрямик по местам, по которым раньше и ползти-то было опасно, — бежали веселые, расстегнутые, в ушанках на затылках. А навстречу нам мчались такие же

растегнутые, с сияющими лицами люди и что-то кричали и размахивали руками.

Мамаев нельзя было узнать. Голый, пустой, каким мы привыкли видеть его последние пять месяцев, сейчас он был заполнен людьми, по делу или без дела прибежавшими сюда, и хотя кое-где еще вспыхивали, редкие правда, букетик минных разрывов — немцы огрызались из-за оврага Долгого, — на них никто не обращал внимания. На венчавших вершину кургана водонапорных баках — ненавистных нам и стоивших столько жизней баках — развевался красный флаг, связисты тянули уже к ним связь, а на самой верхушке маячила всем нам знакомая массивная фигура генерала Чуйкова.

Сейчас же, не теряя ни одной минуты, надо было приниматься за работу. Курган вдоль и поперек утыкан был минами — нашими, немецкими и самыми опасными — дикими, поставленными кем-то, когда-то и не имевшими документации. Дивизионные саперы уже ходили с миноискателями и щупали, ограждая опасные места колышками с табличками: «Мины». Говорили, что двое солдат соседнего полка уже подорвались невдалеке от баков.

Только к четырем часам нам кое-как удалось навести порядок на участке нашего полка. Ограждено было восемь минных полей и обезврежено никак не меньше трех десятков одиночных мин. Казаковцев с Терентьевым приволокли в бидонах обед, и мы, усевшись на немецком блиндаже — внутрь залезать не хотелось, надоел земляничный мрак, — с аппетитом уничтожали гороховый суп, приправленный трофейным шпиком, любезно доставленным нам немецкими «юнкерами». Был, конечно, и шнапс — грешно не отметить такой день.

Внизу под нами расстилался разбитый город. Левее, за железнодорожной выемкой, по которой мы обычно ходили на передовую, виднелись розовые от заходящего солнца

развалины освобожденного уже «Красного Октября» с единственной уцелевшей трубой, а дальше на север в дыму разрывов белели корпуса Тракторного поселка, в котором еще сидели немцы. Над головой то и дело пролетали партии отбомбившихся «петляковых», и было непривычно, что вот летают над тобой самолеты, а ты только улыбаешься им и рукой помахиваешь, а они иногда в ответ крыльями.

Все понимали, что это уже конец или, вернее, начало конца. И потому было весело, и лица у всех как-то помолодели, и вообще все было хорошо.

Мы уже долизывали котелки, когда шагах в десяти от нас раздалось вдруг:

— Господи, боже мой! Николай Иванович!

Начальник политотдела полковник Стрелков и еще несколько офицеров стояли возле нас, и у Стрелкова было такое лицо, будто перед ним был не мирно дожевывающий свой обед саперный взвод, а что-то очень смешное и удивительное.

— Николай Иванович, черт вас забери...

Он не закончил. Подошел к Масляеву и крепко его обнял.

— Сидит, негодяй, и шнапс с солдатами дует. Как вам это нравится? — Он повернул свое смеющееся, в редких рябинах лицо в сторону сопровождавших его офицеров.

Масляев стоял, машинально дожевывая мясо. Стрелков опять повернулся к нему.

— Гуляка проклятый. Хоть бы в штаб когда заглянул, а? И редактор наш на вас в обиде. Пошли, говорит, ему навстречу, разрешили в полк уйти, так хоть какую заметку догадался бы прислать. Нехорошо, нехорошо... Ну, а шнапс-то начальству все-таки оставили?

Стрелков с наигранной укоризной посмотрел на Масляева, на мокрые и грязные от снега колени его, на руки

в садинах и царапинах, потом перевел взгляд на его воротник.

— Пойдите, пойдите, дорогой товарищ. А где ваши шпалы?

— В целостности и сохранности, товарищ полковник.

— Видали? — Стрелков переглянулся с сопровождавшими его офицерами, потом посмотрел на меня. — Кто здесь командует, вы?

— Я, товарищ полковник.

— Из какого полка?

Я ответил.

— И это ваши солдаты?

— Мои.

— А этот товарищ что у вас делает? — Он кивнул в сторону Масляева.

— Как — что? То же, что и все.

— Что и все? Великолепно! Ну и как, хороший солдат?

Я слегка замялся, как всегда, когда не знаешь, с какой целью тебя спрашивают.

— Хороший.

— Дисциплинированный, исполнительный?

— Дисциплинированный, исполнительный.

— Может, представим его к награде?

— Петр Петрович, дорогой, — взмолился Масляев, — пожалейте меня, прошу! Не ставьте в смешное положение.

— Ну ладно. — Стрелков махнул рукой. — Только с одним условием. — Он повернулся ко мне. — Придется мне этого товарища у вас отобрать. Ничего не поделаешь. Мне самому он сейчас нужен. Пошлите кого-нибудь за вещами товарища Масляева, пусть в политотдел отнесут.

— Да какие у меня там вещи, Петр Петрович, — сказал Масляев. — Вещмешок, и все. Никого посылать не надо. Я вечером к вам загляну.

— Заглянет! Вы слышите? Дудки. Знаем мы, как вы заглядываете. Пойдете сейчас со мной, и все.— Он взял Масляева за отворот шинели и провел ладонью по своему горлу.— Вот как вы мне сейчас нужны, понимаете? Не сегодня-завтра будем кончать всю эту петрушку. Вы такие вещи увидите, что... Да в конце концов, может, и я хочу увековечиться? А?.. В общем,— он повернул ко мне смеющееся лицо,— вещи доставите в политотдел. Ясно?

* *
*

Только месяц спустя мы встретились с Масляевым. Встретились на станции Поворино, где наш эшелон, двигавшийся уже на запад, стоял дня два или три. У нас был отдельный вагон, и хотя, кроме нас, восьми человек, в нем ехало еще две лошади и повозка, чувствовали мы себя в нем, по словам Сагайдака, «как паны». Сделали нары, натаскали соломы, обзавелись собственным патефоном — в общем, не тужили.

Масляев появился неожиданно.

— Алло! Здесь саперы сорок седьмого?

— Здесь.

— Разрешите к вам в гости?

Он вскочил в вагон и весело всех оглядел.

— Чайком угостите?

На нем была красивая подогнанная шинель, серебристая ушанка, от прежнего Масляева осталась только улыбка и смеющиеся глаза.

— Соскучился по вас, ей-богу! Ох как соскучился. У нас там,— он сделал движение головой в сторону, где стоял, очевидно, их эшелон,— окурочка на пол не брось.— Он опять оглядел вагон.— А где Сырцов?

— Ранило. В последний день, за «Красным Октябрем»,— сказал Шушурин.

— А Кузьмин?

— Тоже.

— А остальные, значит, все здоровы?

— Слава богу.

Помолчали. Масляев сел на нары, расстегнулся.

— А вы неплохо устроились. С музыкой, вижу, по всем правилам.— Он кивнул в сторону нашего старенького, выдавшего виды патефона.

— Ага,— сказал кто-то, кажется Казаковцев.— Пластинок вот только маловато, две штуки.— И помолчав, добавил: — Может, у вас в штабе разжиться можно?

— У нас в штабе? — Масляев почесал затылок.— У нас в штабе, вероятно, есть. Наверное даже есть. В следующий раз обязательно принесу.— И после небольшой паузы: — Ну, так как же жизнь?

— Жизнь? Да понемножку. Загораем на зимнем солнышке.

— Правильно, так и надо... После Сталинграда можно и позагорать.

Кто-то вытащил кисет, и все по-деловому стали скручивать сигарки. Потом закурили. Казаковцев в углу возился с чайником.

— А я тут кое-что вам на память принес,— нарушил воцарившееся опять молчание Масляев.— От бывшего однопольчанина, так сказать.

Он перекинул на колени планшетку, порылся в ней, вынул оттуда книжечку и протянул ее Шушурину. Тот осторожно, двумя пальцами, взял ее.

— Тут несколько довоенных рассказов,— сказал Масляев,— довольно слабеньких, но... В общем, почитайте — увидите.

Бойцы внимательно рассматривали книжечку, бережно передавая ее из рук в руки. Потом пили чай. Беседа не клеилась, чувствовалось, что солдаты стеснялись и не знали, как себя держать. Сагайдак, передавая Масляеву кружку с чаем, сказал:

— Не обожгитесь, товарищ подполковник, горячая.

— Какой я тебе подполковник, Сагайдак? — возмущился Масляев. — Давно ли ты меня винтовке учил?

Сагайдак смутился и ничего не ответил.

— Это все шинель виновата, — сказал Масляев. — Слишком она у меня красивая...

Все рассмеялись, как смеются шутке начальника — ровно и сдержанно. Масляев скинул шинель, бросил ее на повозку. Потом посмотрел на часы, зачем-то надел и затянул ремень. Солдаты молча перелистывали книжку, передавая ее друг другу. В вагоне стало совсем тихо, только лошади топтались в углу.

Чтоб разрядить напряжение, я затеял разговор о том, что война кончится, многое забудется, сотрется в памяти и что надо было бы всем нам вести все-таки записи — кто его знает, может, еще из Шушурина или Сагайдака писатель получится, рассказать им, во всяком случае, есть о чем.

Сообразительный Казаковцев ловко подхватил эту тему и довольно забавно представил, как лет этак через десять придет он в роскошный кабинет к окруженному книгами Сагайдаку и тот его не узнает, попросит позвонить через пару денечков, когда он освободится от спешной работы. Казаковцев когда-то занимался самодеятельностью и недурно копировал людей. Солдаты весело смеялись, не переходя, правда, границы, которую обычно охотно переходили.

Масляев сидел рядом со мной на нарах и тоже улыбался. Но по глазам его я видел, что он думает о чем-то другом.

— О чем задумались, Николай Иванович?

Он встрепенулся.

— Да так, просто... Смотрю вот на всех вас и...— Он не закончил, отвернулся и обнял за плечи сидевшего рядом с ним Сагайдака.— Расскажите-ка лучше, хлопцы, как вы там в Сталинграде без меня жили? Долго еще пришлось Мамаев чистить?

Весь последний месяц мы были заняты в основном разминированием, довольно скучной и кропотливой работой. Приходилось обшаривать буквально каждый метр усеянной металлом земли, и эта возникшая вдруг тема, связанная с воспоминаниями о том, как бойцы в озаренные ракетами ночи ковырялись в замерзшей земле, извлекая мины, как будто разрядила напряженность и неловкость первых минут. Стали вспоминать всякие эпизоды, часто довольно забавные,— а недостатка в них не было,— происходившие во время выполнения заданий, вспомнили и первую масляевскую вылазку на разминирование, когда у него дрожали пальцы и он никак не мог вставить взрыватель.

— Паршивая все-таки работенка, ну ее...— вырвалось как-то неожиданно у Казаковцева, лучшего, кстати сказать, в полку, если не во всей дивизии, минера.— Век бы их не видел...

— Работенка не из веселых,— согласился Масляев.

Сагайдак лукаво подмигнул:

— А вам что? Вон и на пальцах, гляди, уже чернила, бинтиков не надо...

— Да, превратился в канцелярскую крысу,— вздохнул Масляев.— Теперь ведь все дивизии свою историю пишут, а мне вот правь, редактируй...

— Такая уж специальность,— сказал Сагайдак.— Ничего не поделаешь.

— Ничего не поделаешь,— согласился Масляев.

— А жаль...

— Кому жаль?

— Да нам, конечно. Привыкли все-таки... Вот и газету рассказать некому. Шушурин, что ли?

Сагайдак махнул рукой и стал возиться с обмоткой. Масляев встал, прошелся по вагону, сказал: «М-да...» — и опять сел. Видно было, что ему хочется о чем-то рассказать или просто сказать, но он не знает, с чего начать. А может быть, и просто не уверен, нужно ли об этом говорить.

— А все-таки эти две недели недаром прошли, — сказал я, чтоб как-то подтолкнуть его. — И минировать теперь научились, и НП делать, и...

Я на секунду остановился, вспоминая, чем еще приходилось заниматься Масляеву.

— И?.. Доканчивайте.

— Ну, и вообще стали заправским сапером.

Он опять встал.

— Нет. Не то... Не сапером я стал... Больше... Значительно больше...

Прошелся по вагону, подошел к раскрытой двери, постоял там. В черном прямоугольнике было видно, как по небу, сужаясь и расширяясь, лениво ползали лучи прожекторов. Из соседнего вагона разведчиков доносился веселый хохот — там, видно, играли в козла.

Солдаты сосредоточенно молчали. Очевидно, до них не совсем доходило то, о чем он хотел сказать.

— А может, это самое, к медикам, что ли, сходить? — неожиданно спросил Сагайдак, взглянув на Масляева, а затем на меня.

— Зачем? — не понял Масляев.

— Ну, горючего, что ли, раздобыть малость...

Масляев как-то очень серьезно посмотрел на Сагайдака, насупил брови, но почти сразу же лицо его изменилось, и он рассмеялся:

— А может, действительно сбегать?

Я воспротивился — хватит с меня прошлых неприятностей.

— А что, действительно неприятности были? — спросил Масляев.

— Еще какие. А что, если б с вами случилось что-нибудь? Кто в ответе? Я.

— Простите тогда, Христа ради. Но кто знал, что так получится. Думал, приду в полк, разыщу дежурного, представлюсь командиру полка...

— А вместо этого — кирку в руки и пожалуйте бриться, — не выдержал и прыснул Сагайдак. — У нас дело простое. Без лишних разговоров.

— Какие там разговоры, никто тебя не слушает, кричат. Хотел я сказать — виноват, уважаемый товарищ, но я пришел, как у нас говорится, ознакомиться, а вовсе не атаки там отбивать или землю рыть. Так даже рта не дали открыть. Шагом марш, и все...

Все рассмеялись.

— Сами виноваты. Надо было на следующий день поговорить, — сказал я, чтоб как-то оправдать свое поведение. — После передовой, когда все успокоилось. Почему не пришли?

Масляев развел руками.

— А черт его знает... Постеснялся, что ли...

Где-то далеко на станции прогудел паровоз. Масляев шагнул к фонарю и посмотрел на часы.

— Батюшки, заболтался!

Он стал искать шинель, потом крепко пожал всем руки и выскочил из вагона.

— Не поминайте лихом!

Держась за поручень, он посмотрел вверх, на нас.

— Так если опять появлюсь у вас, не прогоните?

— Каждому новому бойцу рады, сами знаете, — сказал я.

— Ну, смотрите же!

Масляев рассмеялся, махнул рукой и скрылся в темноте.

Укладываясь спать, Сагайдак долго возился, кряхтел, чиркал спичками, вздыхал, а когда я цыкнул на него, мрачно взглянул на меня и сказал:

— Напрасно вы меня не пустили, товарищ инженер.

— Куда?

— Да к медикам...

1963

СУДАК

1

Вергасов выехал из орешника, и впереди под холмом показалась Гусинка — село, в котором располагилась третья рота. Серко, избавясь наконец от непрестанно стегавших его по глазам ореховых веток, сразу прибавил шагу.

Было жарко, как и положено на Украине в июле месяце, солнце стояло почти над самой головой, но Вергасов только что выкупался, дважды переплыл речку туда и обратно и чувствовал себя сейчас свежо и бодро. Собственно говоря, и без купания у него не было оснований чувствовать себя иначе — ему было двадцать пять лет, здоровьем природа его не обидела, в полку его любили, в штабе дивизии считали одним из лучших командиров батальона. Вчера к тому же закончились инспекторские занятия, к которым готовились чуть ли не месяц, закончились неплохо, даже хорошо — комдив отметил батальон Вергасова в своем заключительном слове, — и теперь, после месяца напряженной работы, можно было, в ожидании отправки на фронт, немного отдохнуть.

Правда, в армии отдых — понятие условное, особенно на переформировке, — что бы там ни было, надо копать

траншеи и вообще заниматься каким-то делом,— но все-таки то не инспекторские занятия.

Сейчас Вергасов объезжал роты, хотя большой надобности в этом не было — просто захотелось прогуляться.

Проехав мостик, Вергасов перешел на галоп и, разгоняя во все стороны неистово кудахтавших кур, вихрем пронесся по улице. Стоявший у штабной хаты часовой, еще издали завидев комбата, сразу же отвернулся от хозяйской дочки Мариси, чистившей во дворе картошку, быстрым движением поправил пилотку, гимнастерку и ремень и застыл с безразличным выражением лица, которое считается почему-то необходимым для часового.

Вергасов осадил коня:

— Где старший лейтенант?

— У себя, товарищ капитан,— не меняя выражения лица, ответил боец.— Позвать?

— Позвать.

— Дежу-у-рный!

В дверях показался молодой круглолицый дожевывавший что-то сержант. Увидав комбата, он скрылся, почти тотчас появился опять и рысцой, застегивая на ходу ремень, подбежал к Вергасову.

— Спал небось?

— Никак нет, товарищ капитан.

— А чего морда помятая?

Сержант пощупал ладонью лицо, словно проверяя, действительно ли оно помятое — на самом деле оно было по-молодому свежим и гладким,— и сказал:

— А это так, товарищ капитан... от усталости.

— От усталости. Знаем мы вашу усталость. Спать по ночам надо, сержант. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан.— Сержант понимающе улыбнулся и зачем-то даже козырнул. Часовой тоже ухмыльнулся.

— Позови-ка старшего лейтенанта.

Сержант сорвался с места и, придерживая рукой звенящие на груди медали, побежал звать командира роты.

Вергасов полез за портсигаром, раскрыл его и протянул часовому.

— Закурим, что ли?

— Мне нельзя, товарищ капитан.— Лицо часового приняло опять безразличное выражение.

— А ты на после обеда. Бери, бери, не бойся. «Казбек», в штадиве вчера давали.

Боец осторожно, точно боясь запачкать другие папиросы, вынул одну и сунул за ухо.

— А тебе можно? — Вергасов повернулся к сидевшей на крылечке Марисе, хитроглазой краснощекой хозяйской дочке.

— Сметесь, чи шо?

— Боишься, что румянец потеряешь? А?

Вергасов въехал в калитку и остановился над Марисей.

— А ну вас, товарищ капитан! — Марися притворилась, что испугалась лошади, и слегка отодвинулась.

Вергасов наклонился и шутливо пустил ей дым в лицо:

— Замуж тебя, Марися, отдать надо, вот что. А то вот уйдем скоро, совсем скучно станет.

Марися приснула и уперлась ладонью в потную лошадиную грудь — не подходи, мол.

— И не соромно вам, товарищ капитан!

— Ну ладно, принеси тогда водички.

Марися ловко повернулась на пятках и побежала в хату.

В калитку входил командир роты, любимец Вергасова, старший лейтенант Коновалов. Сталинградец, в прошлом моряк, до безрассудства смелый и прекрасно знавший, что за это ему многое прощается, он давно уже был бы

в дивизионной разведке, если бы не Вергасов, который не отпускал его от себя. Коновалов был катастрофически ряб, что несколько не мешало ему быть «первым парубком на селе» благодаря силе, ловкости и твердой вере в свою неотразимость.

— Старший лейтенант Коновалов прибыл по вашему приказанию, — отчеканил он, неторопливо поднося согнутую ладонь к правой брови и щелкнув шпорами, с которыми никогда не расставался, так же как и с тельняшкой и морским ремнем — сочетание несколько забавное, но и девушкам и самому Коновалову весьма нравившееся.

Вергасов глянул на тельняшку:

— Опять?

— Поправился на деревенских харчах, не застегивается, — одними глазами улыбнулся Коновалов, показывая, что пытается, но никак не может застегнуть пуговицу воротничка.

— И бляха флотская.

Коновалов снова улыбнулся:

— Что поделаешь, не выдает ОВС ремня, сколько раз просил.

— А люди где?

— Работают люди.

— Работают?

— А как же. Вторую линию обороны делают. Я им лоботрясничать не разрешаю.

— И этот тоже работает? — Вергасов показал на проходившего по соседнему участку солдата с двумя ведрами в руках.

— Этот? — Коновалов стрельнул глазами в сторону солдата. — Так это ж Качура. Вчера консервами отравился. Я ему освобождение дал.

— Ну смотри, — Вергасов наклонился к Марисе, которая давно уже стояла с кружкой в руке.

— Пойдешь за Коновалова, Марися? А?

— От пристали. Да берите вже воду...

Капитан с аппетитом выпил холодную воду и, возвращая кружку, сделал вид, что хочет схватить и посадить Марисю в седло. Марися расхохоталась и отбежала к крыльцу.

— Ох, боюсь, Коновалов, не вырвешься ты отсюда,— рассмеялся Вергасов и дружелюбно сбил пилотку с его головы.— Так, говоришь, работают?

— Работают.

— Пойдем, что ли, посмотрим? — Вергасов сделал движение, будто хочет соскочить с коня.

— Пойдем, чего же,— невозмутимо ответил Коновалов.

На самом деле коноваловская рота после тактических занятий поголовно отдыхала. И Вергасов знал это — он только что проезжал мимо второй линии обороны, и там ни души не было,— и Коновалов тоже знал, что капитан обо всем догадывается, и оба они сейчас играли в игру, и обоим она доставляла удовольствие, так же как и без конца повторявшийся эпизод с тельняшкой и бляхой.

«Комроты — дай бог! — подумал Вергасов, глядя на подтянутую, но не слишком, а в меру, как и положено настоящему офицеру-фронтовику, фигуру Коновалова.— С ним бы до Берлина...»

А Коновалов в свою очередь подумал: «И повезло мне, черт, на комбата. За ним, как за стеной каменной...»

Вергасов посмотрел на часы:

— Нет, не успею, третий час уже. Надо еще во вторую съездить. Отремонтировали там мостик?

— Так мимо мельницы скорей,— ответил Коновалов.

Вергасов понял, что мостик как был, так и остался, но ничего не сказал и тронул поводья.

— Бувай, Марися. Подумай, о чем говорили,— и выехал за калитку.

Ильин — недавно прибывший в полк командир второй роты — сидел на завалинке и писал. Он не заметил, как подъехал Вергасов.

— Прохлаждаетесь? — спросил Вергасов.

Ильин вздрогнул и встал:

— Письмо пишу.

— Письмо пишете. А люди где?

— Люди отдыхают.

— Отдыхают?

— Отдыхают.

Вергасов оглядел Ильина с головы до ног — всю его тощую фигуру в широкой, вылезшей сзади из брюк выцветшей майке:

— Приведите себя в порядок, товарищ лейтенант.

— Простите... — сказал Ильин и, заправляя майку в брюки не в том месте, где она вылезла, пошел к хате.

Он почти сразу опять вышел, в гимнастерке и пилотке. Гимнастерка была коротка и с заплатой внизу, пилотка же сидела ровно посреди головы, как носят только люди, никогда не бывавшие на фронте.

— Теперь объясните мне, почему у вас рота отдыхает, а не работает?

— Вчера кончились проверочные занятия, — сказал Ильин, — люди устали. Вот я и решил...

— Я не спрашиваю вас, что вы решили. Я спрашиваю, почему люди не работают.

— Я объясняю. Вчера кончились проверочные занятия...

— Это было вчера. А я вас спрашиваю, почему люди сегодня не работают? Вы понимаете? Не вчера, а сегодня.

Ильин, очевидно, не понял, так как молча пожал плечами.

— И не пожимайте плечами, когда вас спрашивают.

В армии плечами не пожимают. Вы сейчас в армии, а не у себя дома. Ясно?

— Ясно,— не глядя на капитана, ответил Ильин, и некрасивое, с близорукими глазами и слишком большим лбом лицо его покраснело.

«И чего это он всегда в сторону смотрит,— подумал Вергасов.— С ним говоришь, а он всегда куда-то в сторону».

— Выстройте-ка людей,— Вергасов посмотрел на часы.— Пять минут сроку даю.

Капитан соскочил с лошади, не глядя, кинул поводья солдату и зашагал по двору.

Ильин попал к нему в роту каких-нибудь две недели тому назад. Попал на место подорвавшегося на mine Кузовкина, опытного боевого командира, с которым Вергасов провоевал весь Сталинград. Вергасов собирался заменить его Сергеевым, толковым парнишкой из командиров взводов, но ему прислали этого Ильина, который и пороху-то никогда не нюхал,— вот и воюй с ним.

Собственно говоря, пока Вергасову особенно нечего было жаловаться на Ильина. Рота от других не отставала, на проверочных занятиях прошла тоже неплохо, но при чем тут Ильин? Вытянули командиры взводов и сами солдаты. А Ильин? Как все здоровые и веселые люди, Вергасов любил таких же веселых и здоровых, как он сам. Поэтому он любил Коновалова, с которым и воевать хорошо, и выпить можно, и песню хорошую спеть. Парень как парень. А этот? Подойти отрапортовать и то не может. Руки — как грабли, ноги — журавлиные, голенища болтаются. С солдатами разговаривает, точно одолжения у них просят. Рыба какая-то малокровная, а не командир...

Ильин вернулся и доложил, что рота сейчас будет выстроена.

— А документация и отчетность у вас в порядке? — спросил Вергасов.

— В порядке,— сказал Ильин.

— Покажите-ка.

Ильин направился в хату.

— Вы заместителя пришлите! — крикнул Вергасов вдогонку.— Чего вы сами все бегаєте?

— Он болен, товарищ капитан. Приходится самому.

«Конечно ж, самому. А другого на его место временно назначить не додумается».

Документация оказалась в полном порядке. Все было написано чернилами, четким красивым почерком.

— Вы что же, и на передовой собираетесь чернилами писать?

— Если не будет чернил, буду карандашом,— попытался улыбнуться Ильин.

Вергасов, почти не держась рукой, вскочил в седло и вполоборота кинул Ильину:

— Позанимайтесь сейчас строевой. Лично вы. Ясно? Завтра приду проверю.

За воротами он свернул влево и направился к Коновалову, но на полпути вспомнил, что в 18.00 нужно отправить в штадив карту обороны батальона, и, выругавшись про себя, затрусил рысцой в сторону мельницы.

«Куда б его сплавить, черт возьми? — думал он дорогой.— Поговорить, что ли, с Петрушанским? Наверно, им в штабе такой тип нужен. Геморройной работы у них хватает. А я бы Сергеева на его место поставил. Ей-богу, поговорю с Петрушанским».

3

На другой день Вергасов приехал все-таки во вторую роту. Зачем — он и сам точно не знал. Проверять строевую подготовку не было никакого смысла — люди готови-

лись не к параду, а к войне, да и батальон по строевой считался первым в полку, но погода стояла хорошая, проехаться верхом приятно, а на обратном пути можно и к Коновалову заглянуть. Одним словом, поехал.

Ильина он застал в поле. Человек десять солдат без рубашек и совсем коричневые от загара сидели вокруг него кружком, а он что-то рассказывал.

Когда Вергасов приблизился, все встали, и командир роты отрапортовал, что в таком-то взводе идут политзанятия. Голос у Ильина был глухой, тихий, и, когда он докладывал, казалось, что он в чем-то оправдывается. В одном месте он запнулся и, наклонив голову и наморщив брови, три раза повторил одно и то же слово.

— Вольно,— сказал Вергасов и соскочил с коня.— Стреножьте-ка его, ребята! — И, повернувшись к Ильину, спросил: — Какая тема?

— Занятий? — спросил Ильин.

— Конечно, занятий. А чего ж?

— Французская революция.

— Какая, какая революция? — не понял Вергасов.

— Французская.

— Почему французская?

— Просто заинтересовались бойцы, я вот и решил...

— Опять решили. Все вы решаете. Вчера отдохнуть решили, сегодня заниматься историей. А воевать кто будет? А?

Ильин, по своему обыкновению, смотрел через плечо комбата куда-то в пространство.

— Воевать кто будет, я вас спрашиваю? Дядя?

Вергасов прошелся взад и вперед. Солдаты стояли и молчали.

— Гранаты есть учебные?

— Есть,— ответил Ильин.

— Будем гранаты бросать. Пошлите за гранатами.

Пока один из солдат бегал в село, Вергасов шагал взад и вперед и ни с кем не разговаривал. Бойцы молча курили. Солдат вернулся. Вергасов взвесил на руке деревянные чурки, скинул ремень, выбрал гранату потяжелей и, разбежавшись, кинул ее в небо.

— Вот это да!..— вырвалось у кого-то из солдат.

Граната упала далеко за кустами. Отмерили, вышло шестьдесят восемь шагов.

Потом по очереди кидали солдаты, кидали неплохо, но ни один не докинул до того места, куда упала граната капитана. После каждого броска мерили расстояние шагами, и Ильин записывал в записную книжку. Скованность и неловкость первых минут рассеялись сами собой. Солдаты, как всегда во время физических упражнений, веселились, по нескольку раз «перебрасывали», желая побить комбата, но побить так и не смогли. Вергасов бросил еще раз, на этот раз ближе, все на него дружески зашикали, а он, потирая плечо, сказал: «Без тренировочки, братцы, и водки больше стакана не выпьешь». Все расхохотались.

Вергасов поднял с земли ремень, затянул его потуже— он гордился своей тонкой талией— и поправил портупюю.

— Что ж... Неплохо. Думал, что хуже,— и, будто только сейчас заметив стоявшего в стороне с записной книжкой в руках Ильина, спросил его: — А вы что же?

Ильин глянул на капитана и стал засовывать записную книжку в боковой карман. Он был туго набит, и книжка никак не хотела влезать.

Солдаты сразу умолкли. Вергасов выбрал из гранат одну и подал ее Ильину:

— Прошу.

Тот взял и отошел на несколько шагов.

— Ремешок бы скинули...— посоветовал вполголоса кто-то из бойцов.

Ильин торопливо снял ремень и вдруг побежал и бросил гранату. Бросил неловко, как-то по-женски, через голову. Она медленно и словно нехотя завертелась в воздухе, упала шагах в тридцати и откатилась в сторону.

Солдат сбегал и принес ее. Расстояния никто не мерил. Ильин долго и ни на кого не глядя застегивал ремень.

4

В коноваловской хате, самой просторной и удобной, праздновалась годовщина вступления Вергасова на должность командира батальона. На торжество приглашены были даже командир полка, замполит и начальник штаба. Они, правда, посидели недолго — у майора Филиппова, съевшего что-то жирное, начался обычный приступ печени, и замполит увел его, а начальника штаба вызвали срочно по телефону, и он больше не вернулся.

Осталась одна молодежь: комбат, один хохотун-сибиряк Платонов, знаменитый на весь полк тем, что после бани всегда выбегал на снег; маленький, похожий на цыгана Хейломский — командир второго батальона; командиры рот, за исключением Ильина — он дежурил по батальону, — и человек пять командиров взводов.

С уходом начальства стало проще и веселей. Скинули ремни, а затем и гимнастерки, затянули «Хмелю», «Иихав козак на вийноньку», «По долинам и по взгорьям», а когда надоело петь, начали бороться, делать стойки, мосты и, упершись в угол стола локтями, с налитыми кровью лицами пытались отогнуть друг другу руки. Коновалов, не упуская ни одного предлога, чтобы показать свою мускулатуру, снял майку и даже в минуты отдыха принимал напряженные позы, которые наиболее выгодно показывали его лядусы, бицепсы и грудные мышцы.

Потом пошли купаться — ночь была теплая и лунная, — и Вергасов с Коноваловым плавали наперегонки, ныряли, фыркали, брызгались; Платонов, закинув руки за голову, лежал без движения на воде, выставив свой громадный живот, и говорил, что может так даже спать; Хейломский изображал, как плавают женщины, гребя сразу двумя руками и шумно хлопая ногами по воде. Одним словом, веселились вовсю.

Часам к двенадцати все устали и постепенно разбрелись по домам. Вергасов пошел ночевать к Коновалову. Они разделись, стали укладываться, и оказалось, что ни тот, ни другой спать не хотят.

— Может, еще по маленькой?

Коновалов подошел к столу и налил по полстакана.

В окно постучали.

— Кто там?

— К вам можно, товарищ капитан? — донесся снаружи голос Ильина.

— Заходи.

В сенях хлопнула дверь, что-то упало, закудаhtала курица. Наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку, вошел Ильин.

— Чего там? — недовольно спросил Вергасов.

— Из «Гранита» звонили.

— Ну?

— К семи ноль-ноль к тридцать первому вызывают.

— И это все?

— Все.

— И для этого вы специально пришли?

— Да.

Вергасов протяжно свистнул и отодвинул ногой стоявший у стола табурет.

— Садитесь-ка, раз уж... — и не закончил.

Ильин снял пилотку и сел.

— Водку пьете?

Ильин пожал плечами:

— Я ж дежурный, товарищ капитан...

Вергасов потянулся за бутылкой.

— Ничего, я разрешаю. Сегодня разрешаю.

Вергасов налил, и Ильин, не отрываясь, выпил весь стакан.

У него выступали слезы, и, чтобы скрыть их, он низко наклонился над тарелкой. Коновалов весело рассмеялся:

— Сильна, брат?

— Сильна...— с трудом ответил Ильин, поперхнулся и вдруг закашлялся. Кашлял он долго, всем телом, и на лбу у него надулись жилы. Коновалов перестал смеяться и смотрел на него с удивлением и даже с интересом.

— Ты что, болен? А?

Ильин махнул рукой.

— Не в то горло попало. Бывает...

Коновалов снял со стены кобуру, вынул оттуда наган — он презирал пистолеты и свой старенький наган не менял ни на что,— уселся на кровати, поджав ноги, и, сказав: «Оружие прежде всего любит чистоту», начал его разбирать.

Вергасов доедал винегрет. Ильин сосредоточенноковырял ножом край стола. Руки у него были большие, белые, с длинными красивыми пальцами и тонкими, совсем немужскими запястьями.

— Вы играете на скрипке? — неожиданно спросил Вергасов.

— Нет.— Ильин как будто удивился.

— А я думал, играете.

— Нет, не играю.

— На чужих нервах только,— откликнулся с кровати Коновалов и рассмеялся.

— А кем вы до войны были? — спросил Вергасов.

— Ихтиологом.

— Кем?

— Ихтиологом. Ихтиология — это наука о рыбах.

— О рыбах? — задумчиво сказал Вергасов. — Институт, значит, кончали?

— Кончал.

— А мне вот не пришлось... Все с винтовкой больше...

— Успеете еще, — улыбнулся впервые за все время Ильин, посмотрел на висевшие на стене голубенькие ходики и встал:

— Я пойду, товарищ капитан. Пора.

Вергасов потянул его за рукав:

— Успеете еще. Садитесь.

Вергасов исподлобья взглянул на Ильина и неожиданно почувствовал, что ему хочется с ним разговаривать. Он был в той приятной стадии опьянения, когда хочется разговаривать — не петь, не буянить, не показывать свою силу, а именно разговаривать. Причем, как это ни странно, именно с Ильиным. Он не понимал этого человека, не понимал, как, чем и для чего тот живет. Молчаливость и замкнутость Ильина он принимал за гордость, неумение — за нежелание или скорее даже за лень, застенчивость — за презрение к окружающим, — в общем он не понимал его да, по правде говоря, не очень до сих пор и интересовался им. Теперь же в нем заговорило любопытство. Подперев рукой голову — она стала вдруг тяжелой и не хотела сама держаться, — он смотрел на Ильина, на его длинное, почему-то всегда усталое лицо, на большой, с залысинами, от которых он казался еще большим, лоб, на его белые, с длинными пальцами руки. И Вергасову захотелось сказать что-нибудь приятное этому человеку, не слыхавшему от него до сих пор ни одного теплого

слова — только замечания и указания. Сидит вот и бумажку какую-то на мелкие клочки рвет.

— Вы откуда родом? А? — спросил он, не зная с чего начать.

— Из Ленинграда,— не поднимая головы, ответил Ильин.

— Красивый город. Я там был. В тридцать девятом году, когда на финскую ехал. Очень красивый город, ничего не скажешь.

— Красивый,— подтвердил Ильин.

— Один только день был. Петропавловскую крепость, Невский проспект видал. И коней этих знаменитых. Забыл, как тот мост называется.

— Аничков мост.

— Красивые кони. Здорово сделано. Совсем как живые.

— Красивые...— согласился Ильин, сгребая разорванные клочки бумаги в кучку на край стола.

Оба помолчали. Коновалов протяжно зевнул:

— Я, кажется, спать буду, капитан. Не собираешься?

— Оставь мне тюфяк. Я на тюфяке лягу.

— Ты начальник,— Коновалов аппетитно потянулся,— тебе нельзя. Тебе кровать полагается.

Через минуту он уже храпел.

— Хороший парень,— сказал Вергасов.— И офицер толковый.

Ильин посмотрел на спящего Коновалова, кивнул головой и встал:

— Я пойду, товарищ капитан. Третий час уже.

— Да куда вы рветесь? Садитесь. Кто там с вами дежурит?

— Кривенко, командир взвода.

— Вот пускай и посидит за вас. А мы с вами еще по одной.

— Спасибо, мне не хочется.

Вергасов, ничего не сказав, разлил остаток водки в стаканы и протянул один Ильину:

— Нельзя отказываться, когда начальство предлагает. Валяйте.

Ильин покосился сначала на стакан, затем на Вергасова, вытер зачем-то тыльной стороной руки рот, сделал несколько глотков и снова поперхнулся.

— Не могу больше...— Он сконфуженно улыбнулся.

Воцарилась пауза. В сенях завозились и закудахтали куры.

Вергасов прошелся по комнате, вернулся к столу, заткнул пустую бутылку пробкой и зачем-то поставил ее на комод. Ильин искал свою пилотку.

— Вот она, ваша пилотка, на кровати.

Ильин надел пилотку, помялся:

— Так не забудьте, в семь ноль-ноль.

— Не забуду.

Ильин козырнул и вышел.

Вергасов несколько минут ковырял вилкой винегрет, потом, подойдя к окну, распахнул его. На дворе светало, хотя солнце еще не взошло. С речки тянуло сыростью. Широкая деревенская улица была пуста, и только в самом ее конце, около церкви, маячила долговязая фигура Ильина, которого за километр можно было узнать по смешной, подпрыгивающей походке.

«Завтра же схожу к Петрушанскому»,— решил Вергасов.

Он посмотрел на стол, который не хотелось сейчас убирать, прикрыл его газетой и, не раздеваясь, растянулся на кровати.

Это была последняя мирная ночь батальона. На следующую он выступал на фронт. А еще через две оказался на передовой.

Шла самая напряженная фаза боев. После долгого затишья наши войска форсировали Донец, захватили плацдарм и теперь расширяли его. Сплошной линии фронта не было. Была река с понтонными мостами, которые нещадно бомбились немцами, было одно накрепко захваченное большое село Богородичное, а остальное — рощи, лесочки, овраги, высотки, балки — заполнили передвигающиеся в разные стороны и часто находящиеся друг у друга в тылу части немцев и наши, которые то сталкивались, и тогда начиналась перестрелка, то расходились и опять сталкивались, только уже с другими отрядами, окапывались, потом получали приказ и куда-то перебрасывались, опять натыкались на противника — одним словом, обстановка складывалась не слишком ясная, хотя и довольно обычная для первых дней боев на незнакомой местности.

Вергасов получил приказание захватить рошу «Тигр», в двухстах метрах западнее дороги Богородичное — Голая Долина, окопаться там, занять оборону и силами батальона разведать противника в районе высоты 103,2 и Г-образного оврага.

Вергасов больше всего в жизни любил такого рода операции, когда надо что-то искать, хитрить, когда нет этих чертовых развитых в глубину оборон, с их бесконечными минными полями и заранее пристрелянными огневыми точками, когда авиация противника ничего не может сделать, так как сама не знает, где мы, где они, — короче, когда есть простор для тебя и для твоей инициативы.

Однако с первых же шагов Вергасова постигло разочарование. Тщательно продуманный план захвата роши при-

менить не пришлось — немцев в ней не оказалось, и, кроме полусожженного «Бюссинга» и десятка ящиков со сгущенным молоком, трофеев тоже не было. Ну что ж, тем лучше. Вергасов в темноте занял оборону и тут же выслал разведку на высотку и в овраг. Разведчики вскоре приволокли «языка» — молоденького, очень хорошенького белобрысого мальчика — ефрейтора, подстриженного под бокс, который сказал, что немцы и не подозревают, что у них совсем под боком наш батальон, и даже считают, что Богородичное опять, мол, занято ими. В овраге, по его словам, не было никого, а на высоте 103,2 стоят только два пулемета — самый правый фланг правофлангового батальона 136-го пехотного полка. Что находится правее, он не знает, — кажется, ничего. Парень говорил охотно и как будто не врал — у комбата был наметанный глаз.

Вергасов сразу же, еще на допросе немецкого ефрейтора, решил: высотку, пока темно, захватить, не дожидаясь приказа командира полка, а о результатах разведки и принятом решении донести в штаб полка связным.

— Фриценка накормить и в штаб полка. Слышишь, Пастушков? А командиров рот ко мне.

Пастушков — пожилой и самый мудрый в батальоне, а может быть, и во всем полку солдат-ординарец — молча встал и шлепнул пленного пониже спины — пошли, мол.

Вергасов посмотрел на часы. Одиннадцать. До начала рассвета три часа. Успею. Он растянулся на мягкой пахучей траве. Роты хватит. Да какое там роты — двух взводов хватит. Даже одного, если б с Коноваловым послать. Но на такую мелочь Коновалова не стоит. В самый раз Ильина попробовать. Пускай привыкает. С места в карьер. Операция несложная, людей у него пока много, командиры взводов толковые — сами за него все сделают. Раз уж не удалось его Петрушанскому спихнуть, пускай помаленечку привыкает. А тут все-таки хотя задача ерундовая, но есть

какая-то ответственность, да и вообще лучше учиться воевать, держа инициативу в своих руках, чем подчиняться воле противника. Бергасов не был сторонником того, что новичку надо вживаться в войну постепенно. Нет, как учить плавать — толкнуть в воду и все, только на мелком месте, чтобы не захлебнулся. А сейчас такое мелкое место как раз и подвернулось.

Пришли командиры рот. Бергасов перевернулся на живот:

— Ложись, хлопцы!

Командиры растянулись. Лиц их не было видно, лишь у Коновалова, как у кошки, глаза при каких-то поворотах головы отсвечивали красным.

— Дело, значит, такое, — начал Бергасов. — Будем сопку захватывать. Ту самую — 103.2. Фриц говорит, там всего два станковых пулемета. Желательно захватить их так, чтобы они ни одного выстрела не сделали. Утром фрицы проснутся, а мы по ним — из их же пулеметов. К тому времени и о дальнейших действиях дам знать, с хозяином свяжусь, — Бергасов развернул карту и, присвечивая фонариком, показал на ней высоту, овраг и предполагаемое расположение противника. — На всю операцию даю три часа. К двум, когда начнет светать, все должно быть кончено. Ясно?

— Чего ж неясно? Конечно, ясно, — процедил сквозь зубы Коновалов. — Я тебе и к часу кончу.

— К часу мне не нужно. А к двум. И поручаю я это второй роте, лейтенанту Ильину. Вы поняли задачу, Ильин?

— Понял, — тихо ответил Ильин.

— Если есть вопросы, прошу.

— Нет, вопросов нет.

— Насчет огня. В случае недоразумений поддерживать огнем будет Круглов, первая рота. Слышишь, Круглов?

— Поддержим, а как же.

— Ну вот и все.

— Разрешите идти тогда? — Ильин встал.

— Валяйте. Световые сигналы прежние, но старайтесь ими не пользоваться. О захвате высотки донесите связным. Идите.

Ильин, хрустя ветками, направился к опушке.

— Завалит как пить дать! — проворчал Коновалов.

— Почему завалит? — спросил Вергасов.

— Вот увидишь.

— Не обязательно, — вставил Круглов, постоянный оппонент Коновалова. Достаточно одному из них сказать «да», как другой сейчас же говорит «нет».

— А я говорю — завалит.

— А ты не каркай.

— Я не каркаю, просто говорю. Нельзя давать человеку, да еще такому, первое задание ночью. Первое задание и засветло завалить ничего не стоит. А тут... Да он вместо высотки нашу рошу опять захватит.

— Чепуха, — сказал Вергасов. — У него Сергеев, у него Жмачук, ребята все опытные.

— Ну, это твое дело, — сказал Коновалов. — Ты комбат, а не я. Не мне отдуваться. Можно идти спать?

— Иди.

— Бувайте. Авось ты меня своими пулеметами не разбудишь.

Звякнув шпорами, он пошел. Круглов тоже отправился. Вергасов остался лежать.

«А может, Коновалов и прав, черт его забери? Может, лучше было Круглову поручить? Напутает там Ильин, растеряется, подымет трескотню, и вся затея с сопкой провалится. Ведь это у них первая стычка после Сталинграда, первая — после пятимесячного перерыва. И вдруг в грязь

лицом. Не скажешь потом, что не ты, а командир роты виноват...»

Вергасов поднялся и начал вытряхивать забравшегося под рубаху муравья.

Ну да черт с ним. Раз отдал приказ — значит, отдал. И он опять стал убеждать себя, что процентов двадцать роты как-никак сталинградцы, что там Сергеев и Жмачук, что вообще не держать же роту в конце концов все время в резерве, раньше или позже придется и ей вступить в бой. Но веселое и приподнятое настроение пропало. Когда начальник штаба пришел доложить, что связной в штаб полка послан, Вергасов долго его отчитывал, придравшись к тому, что послали не Агеева, а Силина, хотя никакой разницы между Агеевым и Силиным не было — оба были исполнительными, хорошими связными.

6

Всю дорогу от села Червонотроицкое, где находился на формировке батальон, до Дону, сначала в вагонах, а позже на марше, Ильин думал об одном. Все его мысли сводились к одному слову — началось! И с каждым днем, каждым часом, каждой минутой это начало неизбежно приближалось. И вот подошло вплотную.

Ильин знал, что молодым, веселым ребятам и обожженным фронтовикам, как Вергасов и Коновалов, он — молчаливый, застенчивый, не привыкший к военным условиям, комнатный человек — мог быть просто чужд и неприятен. Но от того, что он понимал это, ему не было легче. Не было потому, что и Вергасов, и Коновалов ему нравились, нравились своей веселостью, способностью всегда и везде чувствовать себя свободно и ловко, не уны-

вать при любых обстоятельствах, ясно и просто относиться друг к другу. Солдаты их любили, уважали и немного побаивались. Начальство тоже любило, и они знали, как себя с ним держать — не слишком развязно и не слишком вытягиваясь, спокойно, с достоинством офицеров, знающих себе цену. Между собой же, когда оставались одни, дурачились, как мальчишки, — возились, хохотали, ссорились из-за всякой ерунды и тут же мирились. Одним словом, хорошие и простые ребята. Он сам хотел быть таким, но знал, что никогда таким не будет.

В полку — Ильин сразу это понял — он никому не пришелся по душе. Он не умел, да и не хотел скрывать свои недостатки, и это определило отношение к нему окружающих. Офицеры полка — в основном молодежь со всеми присущими ей слабостями — после двух-трех попыток к сближению, из которых ничего не вышло, потеряли к нему интерес. Кто-то в шутку прозвал его Судаком, и это прозвище настолько прочно к нему прилипло, что за глаза его иначе и не называли. На совещаниях он сидел всегда в стороне, молча, и к нему никто не подходил. С солдатами он не мог найти общего языка — так ему, во всяком случае, казалось. Приказывать и требовать он не умел, никак не мог отделаться от «пожалуйста» и «попрошу вас», а в отношениях со старшиной — хитрым и оборотистым малым — просто становился в тупик.

И только с одним Сергеевым, командиром первого взвода, он чувствовал себя более или менее свободно. Это был молоденький — лет на шесть моложе самого Ильина — парнишка, с девичьим розовым личиком, без малейших признаков усов и бороды, что доставляло ему немало огорчений, но неглупый, смелый, дважды раненный и имевший уже орден за Сталинград. В полку с ним считались, и, если бы не отсутствие звания — он был только сержантом, — его бы назначили командиром роты, о чем он давно

тайно мечтал. Однако, несмотря на то, что место это досталось не ему, а неопытному и необстрелянному Ильину, он, увидев его неприспособленность, взял его под свою защиту, хотя был и подчиненным, и младшим по возрасту. И нужно сказать, сделал он это очень деликатно.

Самое важное было — поддержать авторитет командира, причем командира, который авторитетом своим не очень дорожил и, пожалуй, не понимал всей его необходимости на фронте. Сергеев видел, что Ильин в военно-профессиональных вопросах разбирается так же плохо, как в военно-бытовых, но ни самому Ильину, ни солдатам этого не показывал. Он просто приглашал Ильина к себе на занятия, для проверки, мол, как они идут, и на этих занятиях учил командира вместе с солдатами.

Ильин это понимал, но словами благодарность свою никогда не выражал. Бойцы же, быстро раскусившие хитрость сержанта, сначала немного посмеивались и недоумевали, а потом привыкли и даже полюбили нового командира роты. Они, впрочем, не очень верили в его военные таланты и на любое задание предпочли бы идти с Сергеевым, Жмачуком или даже с Вовком — третьим командиром взвода, крикуном, хотя и опытным командиром. Но мягкость Ильина и его справедливость не могли им не нравиться.

Первая черта, впрочем, не очень нравилась Сергееву. Он воевал уже третий год и считал себя — и это так и было — хорошим и умеющим разбираться в бойцах командиром. Он любил своих солдат, и они его, зато, когда надо, мог и прикрикнуть, и отчитать, и дать, как говорится, чёсу. Ильин ничего этого не умел. Но не в этом беда — есть командиры, которые никогда не повышают голоса и которых солдаты боятся как огня. У Ильина было другое — самое опасное для него как для командира. С солда-

тами он держался даже не как ровня, а как младший со старшими. Ну, не знают они там математики или еще чего-нибудь, половина из них не очень грамотны, но они хорошо стреляют, бросают гранаты, ползают по-пластунски, могут в пять минут выкопать щель, развести костер, поставить заплату, могут спать в любых условиях, и даже на ходу,— иными словами, делать все то, что нужно на войне. И, разговаривая с солдатами, Ильин всегда невольно думал: «Ну чему я его учу, ведь он в десять раз лучше меня все это знает».

Сергеев как-то не вытерпел и сказал ему:

— Товарищ лейтенант, очень прошу вас, есть у вас какое-нибудь сомнение, обращайтесь ко мне, а не к солдатам. Вот сегодня опять что-то у Сидорчука спрашивали. А вы его командир, вы для него должны быть богом, не он для вас, а вы для него. А получается наоборот.

— Ну какой же я бог,— конфузился Ильин.— Когда бойцу показываю, как чучело надо колоть? Нет уж, бога из меня не получится, как хотите.

Так и не удалось Сергееву убедить Ильина. Он остался таким же, каким был.

И вот Ильин получил свое первое задание. К двум ноль-ноль его рота должна захватить сопку. Его рота. Даже как-то странно звучит — рота Ильина. Ему к этому так же трудно было привыкнуть, как и к тому, что солдаты ему козыряют и стоят перед ним навытяжку. Кстати, тут тоже была заслуга Сергеева, который неукоснительно требовал этого от бойцов, особенно по отношению к командиру роты. А командир только смущался и первое время тоже вытягивался перед бойцами, как они перед ним.

Так вот, к двум ноль-ноль высота 103,2 должна быть взята.

Ильин шел по лесу от комбата к себе, и в голове его неотвязно вертелось:

«Итак, начинается песня о ветре,
 О ветре, обутом в солдатские гетры,
 О гетрах, идущих дорогой войны,
 О войнах, которым стихи не нужны...»

Он не помнил, откуда это и чье это и как оно ему в голову попало — стихов он не любил и знал их мало, — но вот лезут навязчиво строчки, и никак нельзя от них избавиться.

Где-то совсем недалеко, справа, мигнул красный огонек сигарки, и невидимый в темноте часовой обругал курившего, тот что-то пробурчал в ответ и повернулся, очевидно, на другой бок — огонек погас.

Ильин на кого-то наткнулся.

— Кого ищите, товарищ лейтенант?

— Сергеева или Жмачука. Не знаете, где они?

— Так Жмачук же дежурный сегодня. По батальону, — ответил голос снизу. — Его тут нет.

— А Сергеев?

— Сергеев? — Боец сел на корточки. — Во-он, видите, дуб здоровый. Если присмотреться, видно. С развилкой. Так от него шагов двадцать правее. Только у них малярия опять. С вечера еще затрясло.

— У кого, у Сергеева?

— Ага...

— Вот черт — Жмачука нет, Сергеев болен. А Вовк где?

— Там же, у дуба. Палатка там у них. Позвать, что ли?

— Нет, нет, не надо. Я сам.

— А то я мигом.

— Спасибо, не надо.

Вовка пришлось долго трясти, пока он проснулся.

— Ну чего? — он приподнялся на локте и приблизил свое лицо к лицу Ильина. — Это кто? Это вы, товарищ лейтенант?

— Я, я. Подымайтесь.

— А что?

— На задание надо идти.

— На какое еще задание? — в голосе Вовка не слышалось ни малейшего азарта.

— Сейчас узнаете. Вставайте.

Вовк ворча стал искать сапоги.

— Тюлька! — заорал он на весь лес. — Куда ты сапоги дел, чертова голова?

Никто не ответил, и Вовк опять стал шарить вокруг себя.

— А о каком это задании вы говорите, товарищ лейтенант? — раздался вдруг слева голос Сергеева.

— Спите, спите, Сергеев. Я не к вам.

— А какое задание?

— Я не к вам, я к Вовку. Вергасов приказал высоту одну тут захватить. Вот и...

Сергеев сразу сел:

— Какую? 103,2?

— 103,2.

— Сейчас мы ее возьмем. Одну минуточку. — Сергеев оперся о плечо Ильина и встал. Даже сквозь гимнастерку чувствовалось, что рука у него горячая.

— Слушайте, у вас же это самое, куда вам, — запротестовал Ильин.

— А у вас — первое задание, — шепотом в самое ухо сказал Сергеев, и на Ильина пахнуло жаром. — Что важнее? А? Вовк все равно до утра сапоги искать будет.

Высота 103,2 находилась в полукилометре от занимаемой батальоном рощи. Попасть на нее можно было или

прямо, перейдя дорогу, по равнине, или же слева, по так называемому Г-образному оврагу. Решили, что один взвод ударит в лоб, другой из оврага. Сергеев настаивал, чтобы удар прямо поручили ему, но Ильин заупрямился. Он считал, что по оврагу идти менее опасно, и ему было неловко посылать на более трудный участок Сергеева. Тому пришлось подчиниться.

В обороне остался взвод Вовка. Ильин взял солдат Жмачука, Сергеев пошел со своими.

Было около часу, когда оба отряда двинулись к вышке. Темень стояла адова. Небо с вечера затянуло тучами. Ильин к тому же был близорук, поэтому старался держаться Кошубарова, сержанта из взвода Жмачука, хвалившегося, что видит ночью как кошка. И действительно, он полз так быстро и уверенно, как будто по крайней мере раз десять здесь ползал и знает каждую кочку.

Ильин запыхался, с трудом поспевая за Кошубаровым, и все боялся, что солдаты потеряют направление или отстанут. Но солдаты не терялись и не отставали. Во время небольших передышек — пятьсот метров да еще в темноте в один прием не проползешь — Ильин слышал, как рядом с ним кто-то дышал, отряхивался, тихо сплевывал. Потом почудилось, что они не туда поползли, что высота осталась где-то значительно левее, что Сергеев давно сидит на исходной, и нервничает, и не может понять, что же случилось в конце концов. Условлено было начать бросок без всякого сигнала ровно в час сорок пять, но в последнюю минуту Ильин забыл поменяться с Кошубаровым часами (у того были светящиеся), и сейчас ему казалось, что положенный срок прошел и что ползут они никак не меньше часа.

Кошубаров неожиданно остановился и, когда Ильин к нему подполз, вытянул руку вперед:

— Видите?

Ильин напряг зрение, но ничего не увидел.

— Высотка,— задышал ему в ухо сержант.— Метров полтораosta осталось.

Ильин опять посмотрел, сощурил даже глаза, но так ничего и не увидел.

Снова поползли. Местность стала подниматься. Изредка попадались кустарники. Впереди вырисовывался гребень высотки — очевидно, взошла луна или тучи поредели, а может быть, и просто потому, что подползли ближе.

Когда же до исходного для броска рубежа осталось каких-нибудь десять-пятнадцать метров, до слуха Ильина донеслась чья-то речь. Ее услышали все: движение разом прекратилось, Кошубаров прижался к земле и застыл.

Говорили немцы. Говорили вполголоса, но без всякой опаски — они не подозревали, что противник может оказаться так близко.

Ильин напряг слух.

— Сколько там осталось? — донеслась сверху, чуть-чуть слева, гортанная немецкая речь.

— Штук десять,— ответил кто-то справа.

— А у Хельмута?

— У Хельмута не знаю. Штук пять, вероятно.

Немного погодя донесся и третий голос:

— Кончили первый ряд?

— Кончаем,— ответили справа.— Минут через пять кончим.

«Минируют...— мелькнуло у Ильина в голове.— Вот черт...— Он пополз к Кошубарову и в темноте нащупал его руку. На часах было четверть второго.— Неужели так мало ползли?»

— Минируют, сволочи...— еле слышно выругался Кошубаров; он тоже понял или догадался, о чем говорили немцы.— Что будем делать?

— Что будем делать?

Ильин впервые понял, вернее даже не понял, а почувствовал, что сейчас именно от него, а не от кого-либо другого зависит все дальнейшее. От того, как быстро он сообразит, и от того, как быстро принятое решение будет осуществлено, зависит не только его жизнь — как ни странно, сейчас он меньше всего думал о ней, — а жизнь двадцати человек, устами Кошубарова спросивших его: «Что будем делать?» От этого зависит успех всей операции. Там, в лесу, у комбата, и позже, когда они с Сергеевым собирались, он ловил себя на том, что больше всего ему хочется не подкачать, показать всем, Вергасову, Коновалову, майору Филиппову и даже милому, трогательному Сергееву, что вот он — шляпа, мямля, а тоже может кое-что делать. Детская черта, но что поделаешь, она была и проявилась у него здесь, на фронте, как невольный ответ на отношение к нему окружающих. Однако теперь, на склоне высоты, которую ему, лейтенанту Ильину, поручено было захватить, он и не думал об этом.

Он ощущал на себе взгляд Кошубарова и еще двадцати лежащих рядом с ним человек, понимал, что они с Сергеевым плохо условились, чего-то не учли, что-то проглядели, понимал, что задача, таким образом, значительно усложнилась, но также понимал и то, что оправданием это служить не может. Приказано захватить высоту, и он должен ее захватить.

Он опять посмотрел на часы. Двадцать три минуты второго. Осталось двадцать две минуты... Он мысленно представил себе карту предполагаемой немецкой обороны, которую показывал в лесу Вергасов. Белый кружок от фонаря, коричневые горизонталы,двигающийся по ним палец. В кружке — высота, слева овраг, справа нечто вроде ложбинки и за ней пологий длинный подъем. Высота стоит как прыщ. Надо ее обогнуть и, пока не поздно,

в условленный с Сергеевым час ударить по немцам с тыла. Это единственный выход... Ударить с тыла.

— Хельмут. Алло, Хельмут! — донеслось сверху.

Ильин вздрогнул и зашептал Кошубарову:

— Пошли вправо. Ударим с тыла. Осталось двадцать минут.

Кошубаров энергично закивал головой и пополз. Гребень высоты остался слева.

8

— Ну, как наш Судак? Не присылал еще связного? — Коновалов подсел на корточки к Вергасову и пощекотал ему травинкой ухо.

— Рано еще. А ты чего не спишь?

— Не спится.

— Волнуешься?

— Что мне волноваться?

— Врешь, волнуешься. Я вот волнуюсь.— Вергасов сел и почесался, муравьи не давали покоя.— Черт его знает, может, и вправду не надо было посылать.

— Я ж говорил.

— Говорил, говорил... Все вы только говорите,— Вергасов поймал муравья и со злобой втоптал его каблуком в землю.— Командиры называется. Никогда ничего поручить нельзя. Все комбат сам должен делать, за всех отдуваться.

Вергасов встал:

— Пойди узнай, нет ли связного?

Коновалов отошел и почти сразу же вернулся. Связного не было. Вергасов посмотрел на часы — семь минут третьего — и пошел к опушке. Как будто немного посветлело, но высоты еще не было видно. Стояла тишина, чуть-

чуть только шумели верхушки деревьев. Со стороны немцев не доносилось ни звука. Вергасов постоял несколько минут и пошел назад. Коновалов лежал на шинели и курил в кулак.

— Ну?

— Что ну? Сам не видишь, что ли? Третий час, а от него ни звука.

С опушки донесся хруст веток, словно кто-то ломал кусты.

— Кто идет? — окликнул часовой.

— Свои. Лещилин со второй роты. Где комбат?

— Здесь, здесь! — приглушенно крикнул Вергасов.—
Давай сюда.

Подошел запыхавшийся боец.

— Взяли сопку?

— Нет еще. Вам записка от лейтенанта Ильина.

— Сопка мне нужна, а не записка. Записки еще пишет.— Вергасов выругался.— Ну, чего ты там возишься? Коновалов, посвети-ка.

В записке, написанной крупным кривым почерком с налезавшими друг на друга словами — писалась она второпях и в темноте,— было сказано:

«Поймал «языка». Выяснилось, что важнее захватить не 103,2, а следующую за ней. 103,2 блокирую. Захватываю следующую. Ильин».

— Видал? — Вергасов затряс листком перед носом Коновалова.— Видал? Ему приказано взять сопку, взять, а он... «блокирую», понимаешь ли!

Вергасов скомкал листок и швырнул его наземь.

— Важнее другую брать... Он знает... Тоже полководец нашелся. И дернул меня черт посылать его.— Вергасов круто повернулся к бойцу.— Что это еще за сопка? Ты видел ее?

— Ага.

— Ты не агакай, а отвечай толком. Что это за сопка?

— Так за первой другая, поменьше.

— Ну?

— Лейтенант Ильин и решил ее взять...

— А кто ему разрешил? Кто разрешил, спрашивается? Кто? Русским языком было сказано — 103,2, а он...

— Так мы ж на мины напоролись, — оправдываясь, сказал боец.

— Какие там еще мины?

— Да фрицы ставили. Мы полезли, а они как раз ставят.

— Ну?

— Вот лейтенант Ильин и решил обойти их, с тыла ударить. А там как раз фриц связь тянул. В ложбинке, между большой и малой сопкой. Совсем случайно напоролись. Так он, этот самый фриц, сказал, что на той сопке оборону их солдаты роют...

— Ну и что? — перебил Вергасов. — Пускай себе роют.

— Так фриц же сказал, что там сейчас никого нет. А на этой, как ее, 103, что ли, рота саперов. НП делают. Так лейтенант решили...

— А ну его, твоего лейтенанта! Какие-то саперы, НП... Чего он воду мутит? — Вергасов осмотрелся по сторонам. — Поведешь меня туда. Пастушков! Тащи автомат! И Шутовых ко мне. Живо!

Через минуту явились Шутовы — батальонные разведчики, с которыми Вергасов всегда ходил на задания. Шутовы были близнецами, причем до того похожими друг на друга, что одному пришлось отпустить усы. И все знали: Борис с усами, а Глеб бритый. Все же остальное было одинаковым, даже татуировка одинаковая: на левой руке, немного выше запястья, у обоих были наколоты женские головки.

— Диски полные? — спросил Вергасов.

— Полные, — в один голос ответили Шутовы.

— Пошли тогда. Где этот, из второй роты?

Лещилин — самый быстроногий и толковый боец второй роты, всегда используемый как связной, — повел не прямо, а через Г-образный овраг. Бергасов заметил это не сразу, а уже около самой высоты и, несмотря на то, что крюк отнял каких-нибудь пять лишних минут, пришел в еще большую ярость. Но они были под самой сопкой и давать волю своей ярости никак нельзя было. Пришлось сдержаться, хотя Бергасов дошел, как говорится, до точки. Он даже представлял себе, как будет говорить сейчас с Ильиным. Человеку первый раз в жизни дают задание, ответственное задание, а он, вместо того чтобы его выполнять, пишет записки, теряет время. А через час-полтора будет уже совсем светло. Струсил, и все. Роты саперов испугался.

Вылезли из оврага и поползли — идти было опасно — по обратному скату холма. Сверху доносились приглушенные голоса и стук топора. Потом свернули налево и поползли в высокой, мокрой от предутренней росы траве. Вскоре наткнулись на окапывающегося солдата, затем на второго, третьего. «С ума спятил, ей-богу, с ума спятил», — думал Бергасов, быстро пробираясь вслед за Лещилиным. Высотка осталась позади, и оттуда изредка доносился стук топора, голосов расслышать было нельзя.

— Сюда, товарищ комбат, сюда, — шепотом сказал Лещилин и пропустил Бергасова вперед.

— Кто это? — раздался голос Сергеева. Он сидел на дне ямы или воронки от бомб — в темноте не разобрать.

Бергасов спустился туда же. Несколько секунд он молчал, тяжело дыша.

— Где Ильин? — спросил он сдавленным шепотом, переводя дыхание.

— Там,— Сергеев махнул рукой куда-то в пространство.

— Вы мне не рукой машите, а объясняйте толком. Где Ильин, я вас спрашиваю?

— На той сопке, где немцы оборону роют,— спокойно ответил Сергеев.— Вы разве не получили записку?

— Кой черт мне ваша записка нужна! Мне сопка нужна, понимаете, вот эта вот, что у вас под самым носом, а не какая-то там... Почему вы ее не взяли, а?

Сергеев открыл было рот, чтобы ответить, но Вергасов не дал:

— Чтобы через пять минут Ильин был здесь. Ясно?

— Ясно,— ответил Сергеев.— Разрешите сначала объяснить?

— Ты сначала Ильина мне доставь, понятно? Очень мне нужны ваши объяснения. Испугались роты саперов — вот и все объяснение. Вояки называется!..

Вергасов отвернулся, давая понять, что ни в какие объяснения вступать не собирается.

Сергеев подозвал Лещилина и отправил его за Ильиным. Потом повернулся к комбату:

— Зря вы его за командиром роты послали.

— Почему зря?

— Честное слово, зря. Во-первых, пока он будет его искать, они уже там начнут...

— Я им дам начать!..

— А во-вторых,— продолжал Сергеев,— ведь все думали, что на этой высоте 103,2 только два пулемета и что их можно будет тихо снять. А оказывается, там НП строят. Чуть ли не рота саперов. Пришлось бы ввязываться в бой. А от пленного — товарищ лейтенант вам писал об этом, связиста тут одного поймали, он связь тянул — узнали, что основная оборона немцев проходит совсем недалеко отсюда...

Сергеев торопился изложить план Ильина. Он сидел на корточках рядом с Вергасовым на дне воронки и говорил, как всегда, очень сдержанно — это была его отличительная черта, — но внутренне волновался, боялся, что говорит недостаточно убедительно и что раздраженный Вергасов не даст ему договорить.

А план Ильина заключался в следующем.

Из показаний пойманного связиста — он сидел тут же, скрученный по рукам и ногам, с кляпом во рту, — выяснилось, что метрах в ста пятидесяти — двухстах от высоты 103,2 есть еще одна, в районе которой немцы сейчас лихорадочно роют оборонительный рубеж. Пока он еще не занят пехотой, но через час будет поздно. Захватив вторую сопку, рота Ильина вклинится в немецкую оборону и парализует ее, одновременно отрезав от нее высоту 103,2. Если же атаковать саперов, это привлечет внимание противника, и он, спешно заняв оборону, не даст в нее вклиниться. Поэтому Ильин, боясь упустить время, самостоятельно принял решение — взвод Сергеева оставить для блокировки высоты 103,2, которую впоследствии нетрудно будет захватить, так как немецкие пулеметы этот скат не простреливают, а самому со своим взводом занять вторую высоту.

Таков был план. Со стороны он выглядел стройно и логично, придаться было не к чему. Но, если говорить прямо, Сергеев мало верил в его благополучный исход. Он боялся за Ильина, боялся, что тот с ним не справится. В таких делах нужен прежде всего военный опыт, а у Ильина его нет. Сергеев потому и пошел сам с командиром роты, что хотел, как всегда, быть при нем и так же, как на занятиях, незаметно руководить им.

Получилось иначе. Мало того, что Ильин придумал план, — он взялся лично руководить самой его ответственной частью. Вот этого-то Сергеев и опасался. Но сейчас,

когда Ильин с ротой находился на исходной и план фактически начал осуществляться, Сергеев понимал, что изменить ничего нельзя. Он считал своим долгом защищать принятое его командиром решение и делал это со всей убежденностью, на которую был способен.

— Вы понимаете, товарищ капитан, насколько мы выигрываем,— говорил он все тем же внешне спокойным тоном.— Надо только, чтобы оставшиеся две роты закрепили успех. У лейтенанта с собой всего два пулемета, а немцы, как увидят, сразу же начнут отбивать высоту. Ведь правда же?

Вергасов ничего не ответил. Он почти не слушал Сергеева. Ему ясно было, что возложенное на командира роты задание не выполнено, высота не взята, то, о чем он писал в своем донесении командиру полка, не сделано. А все, что говорит Сергеев, чепуха. Выгораживает своего командира, который вообразил себя полководцем... Да что говорить! Это хороший урок Вергасову, чтобы знал, кого можно, а кого нельзя посылать на задания. Надо отстранить Ильина от командования ротой. Не его это дело. А теперь надо брать сопку.

Вергасов посмотрел в сторону уже отчетливо видневшейся высоты, соображая, как и откуда лучше всего нанести по ней удар. Потом повернулся к Сергееву:

— Отсюда ударишь, видишь? А Ильин оттуда, из сврага. В пять минут с этой петрушкой покончим,— он глянул на часы.— Куда он провалился, твой связной, черт бы его забрал...

Сергеев не успел ответить. Где-то совсем недалеко раздался выстрел. За ним второй, третий...

Оба переглянулись. Ильин начал свою операцию.

Когда Ильин писал записку Вергасову, он приблизительно догадывался, как она будет встречена комбатом. Вергасов самолюбив и не терпит, когда нарушают или изменяют отданные им распоряжения. То же, что собирался делать Ильин, можно было назвать и тем и другим. Правда, выражаясь уставным языком, это было скорее «самостоятельно принятым решением в связи с изменившейся обстановкой». Но как отнесется к этому самостоятельно принятому решению Вергасов, было более или менее ясно.

Еще по институту Ильин помнил, что экзаменующие предпочитают, чтобы им отвечали именно так, как они читали на лекциях. Отклонение отнюдь не всегда повышало отметку — чаще всего результат оказывался как раз противоположным.

Когда Ильин писал записку, Сергеев ему сказал:

— А может, не стоит, товарищ лейтенант? Все-таки ваше первое задание...

Но он записку все-таки написал и на задание пошел сам. Сергеев остался блокировать сопку.

Ильин лежал на животе, сжимая руками автомат, и ждал, когда вернутся двое разведчиков, которых он на всякий случай послал проверить, нет ли и здесь минного поля. Восток заметно посветлел, и Ильин ясно различил фигуры двух бойцов, лежавших правее его. «Вот они лежат, эти двое бойцов,— думал он,— а за ними еще восемнадцать человек лежат и ждут сигнала. А когда будет сигнал — и сигнал этот даст именно он, Ильин,— они вскочат и побегут вперед, и кто-то из них, возможно, будет ранен или убит, и они это знают и, конечно, волнуются, хотя все они стреляные-перестрелянные. Волнуются и в то же время спокойны — у них есть приказ, и от них требуется только одно — выполнить его. Но достаточно ли этого?

Ведь они знают,— а солдаты всегда все знают,— что комбат приказал брать другую высоту. И может, этот вот боец из новичков, лежащий в десяти шагах от него,— Ильин почему-то хорошо запомнил его круглую, коротко остриженную голову, по которой так и хотелось провести ладонью, такая она была мягкая, точно плюшевая,— может, он лежит сейчас и думает: «И что это лейтенант мудрит?» Короче, не верит ему. А солдат в первую очередь должен верить командиру, верить, что не зря пойдет под пули...»

Самое трудное на фронте — принять решение, иными словами, взять на себя ответственность за все последующие события, за то, что люди, судьба которых в твоих руках, если даже и погибнут, то погибнут, выполняя задачу, в правильности которой ты, во всяком случае ты, абсолютно уверен.

Да, это и есть самое трудное на войне — принять решение, а приняв, твердо выполнять.

Впереди что-то задвигалось. Разведчики? Так и есть. Митрохин и Андронов. Запыхавшись, давясь от шепота, докладывают, что мины не обнаружены. Так... Ясно. Ильин посмотрел на часы — он взял на время атаки у Кошубарова его, светящиеся. Вот когда минутная стрелка доползет до цифры три, он даст сигнал...

— Товарищ лейтенант...

Ильин вздрогнул. Рядом с ним лежал Лещилин.

— Комбат вас к себе вызывает.

— Где он? — еле слышно спросил Ильин.

— У нас. В воронке, где командир взвода,— так же тихо ответил Лещилин.

Ильин понял все. Случилось то, чего он больше всего боялся. Вергасов пришел, чтобы отменить его решение. Он, вероятно, в бешенстве. Ильин даже представил себе лицо комбата — побледневшее, со сжатыми губами, со злыми, колючими глазами. Сейчас еще не поздно. Можно

вернуть назад бойцов и ударить по 103,2. Но нужно ли? Правильно ли это будет?

Ильин закрыл глаза — он всегда так делал, когда хотел сосредоточиться. Открыл их. Восток посветлел, тучи рассеялись, и слева, на чуть-чуть порозовевшем небе, можно было различить очертания небольшой рожицы.

Правильно ли это будет?

С точки зрения дипломатической, чтоб не обострять отношения с начальством, — да, правильно. С точки зрения военной, тактической целесообразности — нет, не правильно...

Минутная стрелка проползла через тройку и медленно приближалась к цифре «четыре». Ильин наклонился к Лещину и сказал ему в самое ухо:

— Через минуту я поднимаюсь в атаку. Скажи комбату, надо прислать для закрепления роту Коновалова. Беги...

В тот момент, когда он подносил свисток к губам, чтоб дать сигнал, он почувствовал, как сердце его на мгновение остановилось.

Потом он бежал по склону сопки, сжимая в руках автомат, и ему было почему-то легко и весело, и, пробегая мимо солдата с плюшевой головой, он не выдержал и крикнул:

— Давай, друг, давай!

И тот дружелюбно откликнулся:

— Даем, лейтенант, даем!

10

Вечером того же дня Вергасов возвращался из штаба дивизии. Его вызывали, чтобы он нарисовал точную картину операции, которая расстроила всю немецкую оборону, дала возможность дивизии продвинуться вперед чуть ли

не на шесть километров и захватить три дальнобойных батареи противника, не успевшего их эвакуировать. В штабе все жали Вергасову руки, поздравляли, хлопали по спине, приговаривая: «Наш Вергасов не подкачает», и только начальник штаба, толстенный, с бритой, чтобы не видно было лысины, головой, пронизательный полковник Шаронов, отвел его в сторону и сказал: «Все очень хорошо, капитан, но сообщить надо было не тогда, когда уже взял высоту, а когда решил ее брать. Сюрпризы на войне дело опасное, даже хорошие».

Командир дивизии тоже поздравил Вергасова, а на слова Вергасова, что основная заслуга в этой операции принадлежит командиру роты лейтенанту Ильину, комдив только улыбнулся:

— Не скромничай, Вергасов, тебе не идет. Комроты комротой, а комбат комбатом. Не первый день все-таки воюю.

И то, что Вергасов не нашелся, что ответить, и не только комдиву, а и всем остальным, и то, что он нес сейчас в левом кармане гимнастерки приказ, в котором ему выносилась благодарность «за блестяще проявленную инициативу в сложных условиях ночного боя, приведшую к значительным тактическим успехам», а Ильину только «за хорошо выполненную операцию по захвату высоты Безымянной», — было ему неприятно.

Только сейчас до Вергасова дошло, что случилось там, у подножия сопки. Он был взбешен, а значит, и слеп. Он не хотел вникать в план Ильина, он расценивал его как бессмысленную, глупую затею. И попадись ему под горячую руку Ильин, бог знает, что бы могло произойти. Но Ильин, к счастью, не подвернулся, а Вергасов был прежде всего командиром, то есть человеком, для которого важнее всего исход операции, поэтому, хотел он этого или не хотел, в сложившейся обстановке он вынужден был подчи-

ниться инициативе своего командира роты. Выход остался один — подтянуть батальон, помочь второй роте закрепиться, попытаться ликвидировать собственными силами сопротивление высоты 103,2 и немедленно, самым срочным образом, донести обо всем командиру полка. Так он и сделал.

Результаты превзошли все ожидания. Ильин захватил сопку, не потеряв ни одного человека, хотя небольшого боя избежать не удалось — на сопке оказалась группа ничего не ожидавших связистов. К моменту, когда противник, услышав перестрелку, стал лихорадочно перебрасывать свои батальоны, чтобы занять оборону в подготовленных траншеях, на помощь Ильину подоспела рота Коновалова. Гитлеровцы были встречены пулеметным огнем, растерялись и побежали. В образовавшийся прорыв ринулся батальон Вергасова, два других ударили с фланга. Только-только намечавшаяся на этом участке фронта оборона немцев была прорвана, дивизия продвинулась на всей полосе почти на шесть километров. Это был большой успех.

Вергасов медленно ехал по лесу. Он устал. Устал от бессонной ночи, от обильного событиями дня, от бурного приема в штадиве. Ехал не торопясь, по реденькому лесочку, лениво похлопывая Серка прутиком. Ему не хотелось в батальон. Он знал, что увидит там Ильина, которого не видел с тех пор, как отправил его на задание, знал, что придется с ним разговаривать, но не представлял себе, как и о чем, и вообще, черт его знает, как себя с ним держать.

Вергасов сделал крюк, заехал зачем-то на высоту 103,2, забрался на Безымянную. В немецких окопах толкались чужие артиллеристы, устанавливали орудия, весело перебивались. Пробегавший мимо солдат, чему-то смеясь, спросил его: «Вы кого ищите? Не Титова часом?» Вергасов ничего не ответил и поехал дальше.

Батальон расположился в крохотной курчавой рощице, в брошенных немцами землянках. Его перевели во второй эшелон, и бойцы, чувствуя солдатским чутьем, что ночью их никуда не двинут, слонялись, несмотря на усталость, по роще, латали обмундирование или просто валялись, собравшись группами, о чем-то вспоминая и весело хохоча.

На опушке уютно дымила походная кухня, и кто-то кричал, что кухня их демаскирует, а повар Севрюк, как всегда, не обращал на это внимания. На ветках сохли портянки. Комсорг Межуев выпускал боевой листок — десятый за последнюю неделю, больше, чем во всех других подразделениях полка. Около кухни брэнчала гитара, и по тому, что брэнчала она невероятно фальшиво, можно было догадаться, что занимается этим Коновалов. В воздухе пахло смешанным запахом потревоженного прелого листа, конского навоза и сохнувших портянок. Из-за соседней рощи медленно на светлое еще небо вылезал совсем молодой месяц, и казалось, что, зацепившись нижним рогом за деревья, он никак не может из них выбраться.

Вергасов подъехал к штабной землянке — аккуратному немецкому блиндажу с нарисованной черной краской на двери летучей мышью. Это был опознавательный знак стоявшей здесь немецкой части — мышь наляпана была буквально на всем, даже на уборной.

У блиндажа на корточках сидел Пастушков, рассматривая разложенные на земле штаны и, очевидно, обдумывая, как поставить заплату. Увидев комбата, он не спеша встал и свернул штаны.

— Серка расседлывать? — спросил он, и в самом тоне вопроса и в том, что за ним не последовало обычных других, Вергасов отметил что-то новое, не такое, как бывало всегда.

Сидевший в землянке за очередным донесением писарь посмотрел на него тоже как-то необычно, боком, начштаба

же поднял лишь голову и спросил: «Ну, что там нового?», повернулся на другой бок и сразу же захрапел.

Вергасов молча вышел. У входа, уткнувшись лицом в сумку от противогаза, спал батальонный почтальон. Вергасов остановился над ним.

— Другого места не нашел? Под самым штабом развалился.

Солдат суетливо встал, одергивая гимнастерку. Взгляд Вергасова скользнул по его растерянному, не проснувшись еще лицу и упал на летучую мышь на дверях.

— Сотри ее... К чертовой матери! — и посмотрел опять на почтальона. — А то дрыхнут, дрыхнут, круглые сутки дрыхнут.

Вергасов прошел на кухню, в обоз, забраковал кашу, отчитал помхоза за не подкованных до сих пор лошадей, вернулся в роту, постоял над Межуевым, который рисовал карикатуру на потерявшего лопату бойца третьей роты — лопата была почему-то в два раза больше бойца, но солдатам карикатура нравилась, и они весело над ней смеялись. — и лишь тогда направился к Ильину.

Ильин сидел на патронном ящике и брился. Увидев комбата, встал.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал Вергасов и после небольшой паузы добавил: — Красоту наводите?

— Тороплюсь, пока совсем не стемнело.

Вергасов сел на пенек. Ильин, сморщившись, брил губу.

— Вы безопасной бреетесь? — спросил Вергасов.

— Угу, — не открывая рта, ответил Ильин.

Больше они не произнесли ни одного слова до самого конца бритья. Когда бритье кончилось и кругом на полверсты запахло тройным одеколоном, Вергасов вынул из кармана сложенный вчетверо листок и протянул его Ильину:

— Прочитайте.

Ильин развернул листок. Это был приказ по дивизии. Он читал его долго, все время кивал головой, видимо одобряя.

— Что ж, очень приятно. Ничего не скажешь, очень приятно,— он даже слегка покраснел.— Только вот машинистка у них не очень-то. Ваша фамилия разве через «ы», Выргасов?

Вергасов не глядя положил в карман приказ. Долго застегивал пуговицу. Потом сказал:

— Я не буду его зачитывать перед строем.

— Почему же? — удивился Ильин.— Такой приказ и не зачитать? Ведь солдаты....

— Вам должно быть ясно, почему я не могу его читать.

— Нет, не ясно.

Вергасов исподлобья посмотрел на Ильина.

— Я хотел вас отстранить от командования ротой,— глухо сказал он.— Знаете вы это или нет? И именно за то, за что вы... и я,— добавил он совсем тихо,— получили сегодня благодарность,— и помолчал: — Теперь ясно?

— Если из-за меня,— тихо сказал Ильин,— то не стоит. Я не придаю этому никакого значения. Я понимаю, что...

— Нет, не понимаете. В том-то и дело, что не понимаете. И очень многого не понимаете.— Вергасов искоса, не поворачиваясь, глянул на Ильина.— А я, оказывается, и того больше...

Он наклонился, поднял с земли гильзу от патрона, некоторое время ее разглядывал, потом размахнулся и запустил ее.

— Когда бросаешь, надо бросать всем телом. Ясно? И вообще... Пошли ко мне, а?

Ильин сразу даже не понял:

— Куда?

— Ко мне. У меня коньяк трофейный есть.

Ильин сконфуженно улыбнулся:

— Я же, вы знаете, товарищ капитан, не очень-то...

— А кофе вы пьете? — перебил Вергасов, и в глазах его появилось то веселое мальчишеское выражение, которое так нравилось всегда Ильину.

— Кофе пью.

Вергасов рассмеялся.

— Севрюк-то наш, повар, целый мешок кофейных зерен раздобыл. И не знает, что с ними делать. Целый час, говорит, варю, варю, и ни черта не получается. Сергеев! — крикнул вдруг Вергасов так, что сидевший неподалеку солдат испуганно обернулся. — Или кто это там сидит? Будут спрашивать командира роты, скажешь, что у комбата коньяк пьет...

ПЕРЕПРАВА

Дивизия наша подошла к селу Кашперовка уже под вечер. Разведка донесла, что немцы сидят на том берегу Южного Буга, но почему-то молчат, и что ни мостов, ни каких-либо других переправочных средств в этом районе не обнаружено.

Майор, командир саперного батальона, — я был тогда заместителем по строевой — вызвал меня к себе и, как всегда перед заданием, ворчливо-недовольным тоном сказал:

— Фриц не знает, что мы вышли к реке, поэтому, очевидно, и молчит. Надо, значит, воспользоваться этим делом и за ночь организовать переправу. Нет — не за ночь, за полночи. Понимаешь почему? Чтоб пехота до рассвета успела переправиться (это была его манера — задавать вопросы и самому на них отвечать). Комдив так и сказал Сергееву — чтоб полк его до шести утра был уже на той стороне, с пушками и со всем прочим. А саперов у Сергеева, сам знаешь, — три калеки. Вот и придется нам отдуваться. Займись-ка этим делом.

Я пошел во вторую роту. Народу в ней было человек двадцать — в основном плотники, — за командира же

орудовал временно Савчук, расторопный и страшно хитрый старший сержант — одессит. Командира роты ранило на Ингуле, и он трясся где-то позади на медсанбатовских подводах.

— Бери роту и двигай на берег, — сказал я Савчуку. — Я поужинаю и через полчаса приду к вам. Разведай пока берег, заготовь телеграфные столбы для плота — там их на шоссе видал сколько... В общем, подготовь все, а я приду, и тогда начнем. К трем кончишь?

— Зачем к трем? К двум кончим. Трос у нас есть, инструмент наточен. Под пушки, что ли, плот делать?

— Под пушки. Полковые.

— Ясно.

Савчук щелкнул каблуками — парень он был фасонистый, из кадровичков, и делал это всегда с истинным кадровым блеском — и побежал к роте.

С ужином я задержался, потом плутал в темноте по незнакомым улицам, угодил в какое-то болото — короче, на переправу попал часам к девяти. Особенно я не беспокоился — Савчук парень толковый, энергичный, наверное, все уже заготовил и сидит где-нибудь в халупе, дожидается меня...

Но получилось не так. Не дошел я каких-нибудь пяти-сот метров до условленного места, как понял, что на берегу творится что-то неладное. Крики, ругань, безалаберщина... Что за черт! У Савчука обычно все тихо, чин чинном. Я нарочно даже велел Крысаку, командиру взвода, — Савчук с ним часто сцеплялся — остаться в расположении и в минном хозяйстве разобраться. А тут... Ничего не пойму. Тьма непроглядная. За два шага ничего не видеть. Кричат, ругаются...

— Савчук! Где ты?

— Это вы, товарищ капитан? — слышу его голос, совсем уже охрипший. — Скобы наши поперли все...

— Кто попер?

— А черт его знает. Принесло сюда еще каких-то. Армейские, что ли? Говорят, что это их место. Тоже плот делают. Я уже трос стал натягивать, а там какой-то — майор, что ли, — ругается, пистолетом размахивает... Вы б с ним...

— А где он?

— Да вон там — разорется. Слышите? Два столба у нас стащили. А теперь вот скобы...

— Кто тут старший? — спрашиваю кого-то большого, громоздкого, в шуршащей плащ-палатке.

— Я. А вы кто такой?

— Комендант переправы, — вру я.

— Чепуха! Комендант — я.

— Ладно... Забирайте своих бойцов и не мешайте работать.

— Кому? Вам? Мне это нравится. Кто вы такой? Командующий армией, что ли?

— Кто бы я ни был. Это вас не касается. Освободите берег и верните скобы, которые у нас взяли.

— Я? У вас? Скобы? Спятили, ей-богу... Это ваши бойцы три топора у нас свистнули...

— Нужны нам ваши топоры... — вмешивается Савчук. — Своих будто не имеем... Вы лучше скобы отдайте. Я их сразу узнаю.

— Ори, ори побольше, — вступился еще кто-то, из того уже лагеря. — Фриц услышит, даст дрозда, тогда не только скобы побросаете.

— Вам не оставим, не беспокойся...

Поругались мы так еще минут пять или десять и ни к чему, конечно, не пришли. Единственная польза, что Савчук, воспользовавшись ссорой начальства, захватил берег в самом узком месте реки и стал забивать колья для троса.

Стало тише. Майоры бойцы подвинулись немного вправо. В темноте трудно было разобрать, где наши, где его, и только редкие уже вспышки ругани показывали, где проходит между нами линия «фронта».

Я сел на бревно и закурил. Река в этом месте была неширокая, но извилистая, с множеством рукавов. Немцы сидели на высоком правом берегу, километрах в полутора от нас, и время от времени бросали ракеты. Но нам они не мешали. Стрельбы ни с нашей, ни с немецкой стороны не было никакой.

Минут двадцать все шло спокойно. Вдруг слышу опять голос майора:

— Где этот... начальник ихний?

— Чего вам еще надо? — спрашиваю.

Майор подходит. Задыхается от бешенства:

— Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я вынужден буду...

— Что?

— Выкину вас отсюда. Силой.

— Попробуйте.

— Отдайте лодку! Сейчас же отдайте лодку! Или я... — он заковыристо выругался и — мне показалось — полез в кобуру.

— Какую лодку?

— Что вы дурачком прикидываетесь? Лодку, которой... Мы трос на ней тянули, а ваши... Она стояла здесь, на берегу. В общем... Я — майор, командир батальона, и приказываю...

— Я тоже майор, и тоже командир батальона.

— Короче, отдадите лодку или нет?

— Никакой лодки я не знаю.

— Значит, не отдадите?

— Оглохли, что ли?

— Хорошо,— голос его принял угрожающе-ледяной тон.— В три часа здесь будет генерал Мякишев, я думаю, вы его знаете...

— Знаю,— ответил я. Мякишев был начальником инженерных войск армии.

— Вот тогда посмотрите. Доложу ему.

— Ладно, не пугайте. Пуганые...

К двум часам ночи плот был готов — добротный, большой, с перилами и даже настилом. А те все еще возились. Савчук натянул трос, великодушно отдал лодку соседям, и теперь было слышно, как ругаются на том берегу майоры бойцы, забивая колья.

— Ну что — домой двинем? — подошел и сел рядом со мной Савчук.— Слово сдержал, как видите. К двум кончил — впритирочку.

— Все?

— Все.

— И пристань кончил?

— А как же,— он вздохнул.— Не представляю только, как это две дивизии сразу грузиться будут. Мостик от мостика — метров десять, не больше. Переругаются — вот увидите. Как мы с этим майором.

— Придется тебе посидеть здесь с бойцами,— сказал я,— пока пехота не придет. А то растаскают. А я пойду в штаб, доложу.

Проходя мимо майора, я не удержался и съязвил:

— Привет генералу. И не засиживайтесь особенно — светать скоро будет.

Майор только буркнул в ответ, что где-то в каком-то месте еще поговорит со мной, но мне было наплевать — работа сделана, а впереди еще полночи, можно и заснуть, чего еще надо. Ноги у меня замерзли, аппетит разыгрался, и я не пошел, а побежал к штабу.

Только стал подыматься по крутой улочке, ведущей

к нашему расположению, как налетел на меня отряд всадников.

— Кто идет? — осветил меня кто-то фонариком. — Сапер, что ли?

— Сапер, товарищ генерал, — я узнал голос Мякишева.

— Переправу сделал?

— Сделал, товарищ генерал.

— А ну пойдём, покажешь.

Генерал грузно слез с лошади и кинул поводья ординарцу:

— Здесь подождешь.

На переправе генерал зажег фонарик, прикрыв его рукой, и попробовал ногой настил.

— Выдержит?

— Выдержит.

— Ну смотри же, не перекупай мне пушки.

— Товарищ генерал! Это не наш... — подскочил вдруг майор. — Наш вот, правее...

Белый луч фонаря осветил круглое и потное лицо майора со съехавшей на затылок пилоткой и... — ах ты, сукин сын! — погоны старшего лейтенанта.

— Вот сюда, товарищ генерал. Только настил осталось. А там уже...

— Ничего не понимаю, — генерал осветил фонариком соседний плот. — Что значит «наш»? А это чей?

— Мой, — ответил я.

— А ты кто такой?

Я отрекомендовался.

— А ты?

Старший лейтенант стоял и растерянно смотрел то на генерала, то на меня.

— Оглох, что ли?

Старший лейтенант вытянулся:

— Командир роты армейского саперного батальона старший лейтенант Костриков.

— Чего ж глазами хлопаешь?

— А... Тут, товарищ генерал, недоразумение какое-то, сам не пойму.

— Какое недоразумение?

— А мне, видите ли, товарищ генерал, приказано было переправу сделать... Для ихней, теперь оказывается, дивизии... Ну, и мы сделали, и они сделали...

— Две, значит, переправы сделали?

— Выходит, что две.

— И ты что ж, огорчен?

— Не то что огорчен, но, видите ли, товарищ генерал... Мы с ним,— он указал на меня,— поругались даже по этому поводу. А теперь...

— Что теперь?

— Теперь ему ж и сдавать надо.

Генерал хлопнул его слегка по плечу нагайкой:

— Эх вы, саперщики. Горе мне с вами. Нажимай-ка там со своим настилом. А то полки подойдут — не завидую тогда тебе.

Со стороны Кашперовки доносилось уже бряцание котелков, лопаток, сдержанно ржали артиллерийские и обозные лошади.

Месяца через четыре, летом уже, мы попали с этим самым Костриковым в один и тот же госпиталь — недалеко от Люблина, в Лушувце.

Оба мы были ранены в руку, лежали в одной палате и даже койки свои поставили рядом.

— Ну сознайся,— спросил он меня как-то,— дело уже прошлое, лодку мою вы сперли тогда?

— Мы,— сознался я,— а вы скобы...

Он расхохотался.

— А ты знаешь, что стащили-то мы их только после того, как твой сержант, или кто это у тебя там был, начал скандалить. Мы и не подозревали, что они у вас есть. А он выдал. Я разозлился и велел весь берег обыскать, но скобы у тебя стащить...

Между прочим, я до сих пор не знаю, почему получилось так, что оба наши батальона послали на одну и ту же работу. Но так или иначе, а полк тогда переправился вместо четырех за два с половиной часа.

1950

ПОСВЯЩАЕТСЯ ХЕМИНГУЭЮ

В Сталинграде, в первом батальоне нашего полка, был знаменитый связист. Фамилии его я уже не помню, или, вернее, просто не знал, звали же Лешкой — это помню твердо. Маленький, худенький, с тоненькой детской шейкой, вылезавшей из непомерно широкого воротника шинели, он казался совсем ребенком, хотя было ему лет восемнадцать-девятнадцать, не меньше. Особую детскость ему придавали нежно-розовый, девичий цвет лица, совершенно непонятно как сохранившийся после многодневного сидения под землей, и глаза — живые, выразительные, совсем не взрослые. Знаменит же он был тем, что много читал. Когда бы вы ни пришли на КП батальона, вы всегда могли застать его в своем углу, у аппарата, с трубкой и с глазами, устремленными в книжку. Наверху гудело, стреляло, рвалось (КП батальона находился в подвале мясокомбината), а он, поджав под себя ногу, листал книгу, время от времени отрываясь от нее, чтоб крикнуть: «Товарищ шестнадцатый, четвертый вызывает».

Знакомство наше произошло не сразу — во время третьего или четвертого моего посещения мясокомбината. В ту ночь он, как всегда, маленький, ссутулившийся,

сидел в своем углу и кричал кому-то, что если через час не прибудет положенное количество «семечек» и «огурцов», то четырнадцатый сам пойдет ко второму, и тогда шестому не сдобровать, а заодно и одиннадцатому. Когда он прекратил свои угрозы, я попросил его соединить меня с одной из рот. Он соединил, передал мне трубку, а сам уткнулся в книгу.

Я кончил разговаривать. Он попросил закурить. Долго скручивал сигарку, глядя сощуренными глазами на коптящее пламя гильзы, потом сказал:

— Пацан ведь, совсем пацан... А туда же, со взрослыми...

Я не понял:

— Ты это о ком?

— Да о Петьке...

— Каком Петьке?

— Да о Ростове, — и скосил глаза в сторону книги, — не читали разве? «Война и мир» Эл Толстого... (Он так и сказал — Эл Толстого).

Так началось наше знакомство.

Боец, читающий на передовой книгу, — сами понимаете, явление не слишком часто встречающееся. И уже одно это должно было привлечь к нему внимание.

Сначала я думал, что он читает просто так, в минуты затишья, чтобы скоротать время. Оказалось, нет. Он обладал каким-то поразительным умением окупаться в книгу с головой, умением моментально переключаться со своих «огурцов» и «семечек» на смерть Пети Ростова или еще что-нибудь, никак не более близкое ему сейчас. Все прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, вопросов, иногда просто ставивших меня в тупик.

Я, например, довольно долго пытался убедить его (после того, как он прочел «Изумруд» Куприна), что

писатель вправе писать не только о людях, но и о лошадях, и даже от их имени. Он не соглашался:

— Писатель пишет, а ты читаешь и должен верить ему. И веришь. А тут знаешь, что он все придумал, и тоже веришь. Разве можно так, товарищ лейтенант?

Я пытался доказывать, что можно и даже нужно, но он только пожимал плечами и, чтоб поставить точку в нашем споре (он вообще не любил споров, считая, очевидно, что чем-то обижает меня, не соглашаясь со мной), стал вызывать кого-то в трубку.

Мне очень нравились в Лешке его независимость, его желание иметь и отстаивать свой собственный взгляд на вещи, его сомнения, которые не всегда могли развеять даже такие авторитеты, как Куприн или Толстой,— о себе я уже не говорю. И всегда ему нужно было точно знать, для чего написан тот или иной рассказ,— он был чуть-чуть моралистом. И в то же время он чисто по-детски, эмоционально и непосредственно, переживал все, преподносимое ему книгами. Когда он прочитал «Попрыгунью», он долго не мог прийти в себя. По-моему, он даже всплакнул немного. Это, правда, не помешало ему тут же посетовать на Чехова, почему он так много места уделил «попрыгунье» и так мало такому хорошему, такому умному, такому замечательному Дымову. Ну хоть бы сказал, над чем он работал...

И все это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале мясокомбината, всегда набитом людьми, усталыми, злыми, невыспавшимися, где лежали и стонали раненые, где умирали.

Сейчас, семнадцать лет спустя, я с какой-то особой завистью вспоминаю о Лешке, умевшем с такой легкостью абстрагироваться от всего окружающего. «Прочли ли вы то-то или то-то?» — спрашивают тебя. «Какое там... Времени нету... Давно собираюсь, да все как-то...» А он сидел

себе, поджавши ногу, и читал. Где-нибудь в сети обнаружится порыв — загнет страницу, побежит починит, вернется и опять глаза в книгу. И в тяжелой нашей, скучной, однообразной фронтовой жизни Лешка стал для меня каким-то просветом, огоньком, на который я всегда с радостью забегал.

Не помню точно когда, кажется в декабре, нас передислоцировали, передвинули правее, на северные скаты Мамаева кургана. Все мы ворчали — пришлось расставаться с привычными, знакомыми участками, обжитыми землянками. А Лешке к тому же пришлось расстаться и со своей «библиотекой». У него действительно была такая — в прошлом, очевидно, клубная, а сейчас никому не нужная, разбомбленная, заваленная кирпичом. Вот туда он и бегал, благо это было совсем рядом и с необстреливаемой стороны. Особой системой его чтение не отличалось. Читал все, что попадалось под руку. Толстой, Чехов (к сожалению, он нашел только один том), Александр Беляев, «Первый удар» Шпанова, какие-то старые журналы с оборванными обложками, а однажды я его застал за чтением Метерлинка, которого он хотя и прочел, но не очень одобрил — впрочем, он вообще не любил пьес. Делал ли он различие в том, что читал? Да, делал. Больше всего он любил трогательное и жалостливое, «чтоб за сердце щипало». Любил про детей, про животных (пожалуй, больше всего из прочитанного его потрясла «Муму»), не любил про любовь, про войну. К моему величайшему изумлению, более чем холодно отнесся к Жюлю Верну, которым мы в свое время все так увлекались. Кстати, до войны, вернее до Сталинграда, он почти, чтоб не сказать совсем, не читал. Родился и жил в деревне, недалеко от Саратова, кончил шесть классов..

Итак, нас передислоцировали. КП первого батальона перебазировался в бетонную трубу под железнодорожной насыпью, у самого подножия Мамаева кургана. Вот тут-то Лешка и затосковал.

— Неужто у вас ничего нет почитать, товарищ лейтенант? — спросил он меня на второй или третий день после новоселья, сидя у своего аппарата и с тоской перелистывая наставление по стрелковому делу.

В те дни, когда у Лешки была еще собственная «библиотека», у меня на старом месте было тоже что-то вроде этого — десятка два книг, притащенных бойцами из разных развалин. При передислокации большинство из них я оставил в наследство нашим «сменщикам», с собой же взял только четыре книги: «Фортификацию» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, «Медного всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа и томик Хемингуэя в темно-красной обложке — «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов». К слову сказать, эту последнюю книгу я украл.

Существует мнение, что кража книг не является кражей. Я эту точку зрения не разделяю. На мой взгляд, кража остается кражей, что бы ни украл — серебряные ложки, бриллианты или книгу. Во всех случаях — это преступление. И все-таки Хемингуэя я украл. Украл в штабе армии. Был там один ПНШ — очень начитанный, очкастый, длинноносый майор, в прошлом декан какого-то института, великий книжник. Когда я приходил в штаб по своим саперно-инженерным делам, он обязательно заводил со мной какую-нибудь «интеллигентную» беседу о литературе, шахматах или Художественном театре. В однообразии обычных, осточертевших уже разговоров о минных полях, лопатах, киркомотыгах или новом НП, который надо за одну ночь построить, беседы эти вносили какую-то свежую струю. Но все горе было в том, что

майор в своих суждениях был так банален, так любил повторять чужие слова, что под конец мне он просто надоел со своим вечным: «А! Друг мой, зодчий бога Марса» и нудными рассуждениями о музах, молчащих, когда грохочут пушки. Возможно, именно поэтому я и украл у него Хемингуэя. Майор куда-то вышел на минутку, я посмотрел на книгу, которой он только что хвастался («Всю войну с собой вожу, люблю в свободную от исполнения воинского долга минуту перечитать тот или другой рассказик. Большой, очень большой и своеобразный мастер»), сунул ее за пазуху и ушел. И бог его знает почему, но ни тогда, ни сейчас никаких угрызений совести не испытывал и не испытываю.

Когда я нес Лешке книгу, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя? Хемингуэй не легок, не для всех, к тому же, когда я вручал книгу Лешке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно.

Очевидно, это была очень забавная сцена: сидят двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев (в эту ночь Лешка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте), курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильеро, верониках и реболерах, о которых один ничего не знал, а другой хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видел в детстве картину «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентино.

Часа в два ночи я ушел. Была на редкость тихая, морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой, на берег, я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных

бомбардировщиков — наш или не наш? — и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, что завтра, к семи ноль-ноль, нужно сдать схему инженерных сооружений обороны полка, которую, заболтавшись, не успел закончить, о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, веселое и трагичное, думал о Лешке, возможно как раз в эту минуту читающем про мадридского шофера Иполито, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том, что, не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным.

В шесть часов меня разбудил Титков, мой связной, — надо было заканчивать схему.

— А парнишку-то вашего ранило, — подавая мне котелок с кашей, сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе двух плитках шоколада.

— Какого парнишку?

— Да того, с первого батальона, что книжки читал... С полчаса как в медсанбат потащили...

В медсанбате (он был в десяти минутах ходу от нас) я застал Лешку приготовленным для эвакуации на левый берег. Ранен он был не тяжело, в руку и ногу осколками, но потерял очень много крови, пока дополз до КП батальона (он уже шел домой после дежурства), и требовалось переливание крови, возможное только в госпитальных условиях.

Он лежал на земле, на подстеленной плащ-палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах.

— Где же тебя кокнуло? — спросил я.

— Да там, около насыпи, где мостик, знаете? Ерунда, — он с натугой улыбнулся, — скоро вернусь. А книжка

ваша...— Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой.— Испортил немного, не сердитесь.

Оказалось, что она слегка испачкана кровью, десятка три страниц, по самому краешку.

— Ничего, это ее только украсит,— сказал я.— А прочесть успел что-нибудь?

— Очень мало. Мешали все. Капитан Коробков дежурил, а он каждую минуту: «Алло! Алло! Положение?» Три штуки только успел. Про шоферов мадридских, про старика, у которого два козла и кошка остались, и третий — про Пако, помните, как два парнишки в бой быков стали играть и Пако напоролся на нож?

— «Рог быка»?

— Ага, «Рог быка»...— Он мучительно наморщил брови.— Вот глупо получилось, а? Просто ужас... На два дюйма только... Сколько это дюйм?

— Два с половиной сантиметра.

— Значит, на пять сантиметров в сторону, и не попал бы ему в живот... Бывает же такое...— И, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону: — Жаль Пако, хороший парень был.

Больше нам не дали говорить. Подошел врач, и двое санитаров стали перекладывать его на носилки. Прощаясь, я протянул ему книжку:

— Чтоб не скучно в госпитале было.

Он, насколько мог, весело улыбнулся:

— Через неделю вернусь, вот увидите. И книгу верну, ей-богу, вы ж знаете меня...

Но больше я Лешку не видел. Обычная история — из госпиталя отправили в другую часть, и все. Война...

Жив ли Лешка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик прочел — тогда,

в госпитале, или позже, после войны. Не думаю, чтоб Хемингуэй стал его любимым писателем, слишком у того много подспудного, недоговоренного, а Лешка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих двух столь несхожих людях, старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лешкином «жаль Пако, хороший был парень...», в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Иполито. Он сказал о нем: «Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я ставлю на Иполито».

«И на Лешку», — хочется добавить мне.

1959

ВТОРАЯ НОЧЬ

1

Случалось ли вам когда-нибудь искать нужную вам часть в день, когда началось наступление? Если нет — вам просто повезло. Будь вы даже трижды стреляным-перестрелянным фронтовиком, возвращающимся после недолгого лечения из армейского или фронтового госпиталя, и то на это у вас уйдет дня три или четыре, если не больше. Что же говорить тогда о новичке бойце, впервые попавшем на фронт? А Ленька Богорад был именно таким бойцом. Было ему восемнадцать лет, и на фронт он попал впервые. Из Камышина до штаба фронта, а затем армии их — сто двадцать человек из запасного полка — вез лейтенант Гурмыза. В штабе армии Леньку и Федьку Кожемякина заставили рыть щели возле хат. Вырыли они восемь щелей по полтора метра глубиной, разровняли землю, замаскировали травой, а тем временем группа их ушла. В довершение всего Кожемякин отравился какими-то консервами, его отправили в госпиталь, и Ленька остался один как палец. О нем все забыли. Где-то на Донце началось наступление, все бегали как угорелые, и никто не хотел с ним разговаривать. Один только повар из офицер-

ской кухни, которому он принес четыре ведра воды, дал ему полный котелок лапши с маслом и посоветовал обратиться к капитану Самойленко.

— Вон там, где верба сухая. Парень хороший. Попросись в дивизию Петрова. Мировой генерал, и дивизия мировая. Я в ней весь Сталинград кашу варил.

Капитан Самойленко оказался действительно хорошим парнем, не накричал на Леньку, когда, попытавшись козырнуть, он уронил винтовку, а только рассмеялся, сказал: «Эх ты, село»,— и дал ему конверт с надписью: «Х-во Петрова, к-ну Переверзеву».

— На Донце ищи, у Богородичного. Они уже там, вероятно.— И вдогонку крикнул: — Штык, смотри, не потеряй, а то достанется по первое число!

Ленька вышел на улицу, перевернул и привязал штык к стволу, обмотал тряпочкой затвор, чтобы не пылился, и пошел искать Богородичное. День был солнечный, веселый, в сидоре — буханка хлеба, круг колбасы и две пачки пшеничного концентрата, за обмоткой — ложка, на боку — котелок, махорки полон кисет и бумаги целая газета — что еще надо? Начальства над тобой нет, иди потихонечку, присаживайся где хочешь, а надоест идти — машин на дороге много, вскакивай в любую, куда-нибудь да подвезет.

И Ленька шел и ехал, глаза по сторонам. Черт-те что творится! Он никогда не видал такого количества пушек и «тридцатьчетверок». Так прямо и прут среди бела дня, громыхают, пылят, и все в одну сторону. Раза два прогнали партии пленных немцев, и Ленька даже соскочил с машины, чтобы посмотреть на живого фрица,— до сих пор он их только в газете на карикатурах видал. Разочаровался. Люди как люди — пыльные, усталые, только сидора раз в десять больше, чем у нас, и в землю все смотрят. Один раз пролетел «мессер», кто-то крикнул «воздух», но разбежаться не успели — «мессер» улетел.

Все шло чин чином — с машины на машину, с повозки на повозку, — пока не оказалось, что день кончился, полбуханки и круг колбасы съедены, а до Богородичного как было, когда он выходил, двадцать километров, так и осталось.

Ленька свернул с дороги, наткнулся на какой-то куст и завалился — сидор под голову, винтовку меж колен.

Всю ночь трещали над головой «кукурузники», где-то за горизонтом вспыхивали ракеты и стреляли пушки — днем их почему-то не было слышно, сейчас же грохотали без умолку. На дороге лязгали гусеницы, доносились откуда-то голоса. Ленька ворочался с боку на бок и никак не мог заснуть. Стало вдруг жалко самого себя: валяешься вот под кустом, а ребята ушли, и ни с кем не попрощался — будь они трижды прокляты, эти щели! — ни с Ванькой, ни с Глебкой Фурсовым, ни с лейтенантом Гурмызой. Неплохой все-таки лейтенант был — за две недели один раз только на него накричал, когда курицу поймал, а так очень обходительный командир. Потом в голову полезли всякие мысли. Мария Христофоровна — молодая учительница. Как она, когда его в армию брали, принесла тетрадку и карандаш, чтобы письма писал. Потом еще что-то, тоже жалостное, еще что-то, и еще, и наконец заснул.

2

Проснулся — и все как рукой сняло. Небо голубое, кузнечики кричат, над головой жаворонки — как будто и войны никакой. Доел остатки колбасы, винтовку на плечо — и пошел. От встречных раненых — Ленька с уважением смотрел на этих усталых и совершенно серых от пыли людей, ковылявших по дороге, — узнал, что Богоро-

дичное на том берегу Донца, километрах в пяти или десяти, а может, и пятнадцать, но кто там — немцы или наши, — никто толком не знал. О хозяйстве Петрова тоже не слышали — иди разберись, где там чье хозяйство. А вообще «идет дело помаленьку», просили закурить и шли дальше.

Часам к трем верхом на «катушинных» снарядах добрался наконец до Донца. Речушка так себе — желтенькая, мутная, один берег пологий, другой — в гору. Лозняк вдоль дороги и у моста забит машинами, повозками. На обочине сидят бойцы, покуривают. Красные, потные лейтенанты бегают от одного к другому и загоняют в кусты. Бойцы неохотно поднимаются, делают шагов десять и опять усаживаются. У самого понтонного моста молодой парень, в танкистском шлеме, с красным флажком в руке, поочередно пропускает на мост то транспорт, то пехоту. Пыльно. Жарко.

Ленька пересек железную дорогу, примазался к какой-то части, прошел с ней мост и только подумал: «А что, вдруг фриц сейчас налетит?» — как откуда-то посыпались бомбы. Очнулся Ленька под мостом, по горло в воде. Как он туда попал, — один бог знает. Трясло всего, с головы до ног. Кое-как вылез на берег, волоча за собой винтовку, перелез через перевернутую пушку, упал, встал, опять упал, опять встал. Кто-то кричал визгливым голосом: «Рятуйте, рятуйте!» Билась на дороге лошадь, вытянув морду. Промчалась мимо никем не управляемая повозка, теряя какие-то ящики.

Ленька побежал. Бежал, ни на кого не глядя, ничего не слыша, ничего не видя, все вверх и вверх по дороге, подалее от моста. Выбился из сил у опушки какой-то рощи. Сел. Пилотки нет, все мокрое, в ботинках хлопает. Шагах в двухстах от него какие-то бойцы варят что-то на костре. Ленька подошел, спросил, не знают ли они, где хозяйство Петрова. Нет, не знают, сами недавно пришли.

Пошел дальше. При звуке самолета сворачивал с дороги и шел прямо через кустарник. Опять стала слышна стрельба орудий. По дороге один за другим, подымая клубы пыли, пронеслись здоровенные «студебеккеры» с боеприпасами. А Ленька все шел, спрашивая всех встречных, но никто толком не мог объяснить. Одни не знали, другие чесали затылки и говорили, что «кажется, за той рощей какой-то штаб стоит», третьи просто ничего не отвечали.

Наконец напоролся на раненого, попросившего закурить. Оказалось, слава тебе господи, из петровской дивизии.

— Тебе какой полк нужен? — спросил раненый.

— Не полк, а штаб дивизии.

— Это не знаю, — устало ответил раненый и принялся перематывать черный от пыли бинт на ноге.

— А ты с какого? — спросил Ленька.

— С тридцать третьего.

— Далеко отсюда?

— Да как сказать... Километров так... В общем... Топай по дороге во-он до того столба — видишь, на проводах висит? Налево овраг будет. Вот по оврагу и двигай, дойдешь...

Ленька присел — сбилась портянка.

— А фронт где? Далеко?

Раненый посмотрел на простецкую круглую Ленькину морду и улыбнулся одними губами.

— А вот он и есть — фронт-то...

— Как так?

— А вот так. Лесочек видишь? Так там уже фриц.

— Почему ж не стреляет? — удивился Ленька.

— Ужинает, потому и не стреляет.

Помолчали. Потом Ленька спросил:

— Ну, а вообще как? Драпают фриц?

— Да не очень. «Ванюши» подтянул и минометы. Хорошо еще, авиации пока нет.

Ленька удивился — как же нет, когда он сам под бомбежку попал.

— Да разве это бомбежка? Ты, брат, бомбежек, значит, не видал...— И раненый устало, но с подробностями стал рассказывать обычную историю о бомбежках, о том, как рядом с ним, «ну вот так, как отсюда до того дерева», упала бомба и всех убила, а его даже осколком не задела. Рассказал, встал, посмотрел на темнеющее уже небо, поблагодарил за махорку и двинулся, прихрамывая, в сторону реки. Отойдя шагов двадцать, обернулся и крикнул вдогонку: — Где развилка оврага будет, направо валяй, а не налево, а то к фрицам попадешь!

Ленька миновал столб, свернул с дороги и пошел по дну оврага. Быстро темнело. Где-то слева застрочил пулемет. Потом справа, совсем близко. Стало как-то не по себе. Ленька вынул из мешка патроны, рассовал по карманам, проверил затвор — все в порядке. Дошел до развилки, свернул вправо. Еще полкилометра, и — что за черт! — овраг кончился. Полез по откосу, добрался до края, высунул голову. Пусто. Впереди темнеет роща. Только сделал шагов десять — выстрел: один, другой, третий, и над самой головой засвистело. Ленька назад, кубарем на дно оврага. Что за чертовщина? Куда же это его занесло? И куда идти? Вперед, назад? Решил — назад. Стало совсем темно — ни черта не видно. Дошел опять до развилки. Остановился. Откуда-то слева донеслись голоса. Ленька почувствовал, как под мышками у него потекли ручейки. Прижался к земле. С левого берега оврага один за другим спускались какие-то люди. Слышно было, как у них из-под ног сыпалась земля и как тяжело они дышали. «Наши», — подумал Ленька, и в этот момент кто-то совсем рядом с ним вполголоса выругался. Ленька приподнялся.

— Эй, друг...

Щелкнул затвор.

— Кто там?

— Да свой, свой... Не с тридцать третьего?

Человек приблизил свое лицо вплотную к Ленькиному:

— Нет, не с тридцать третьего. А зачем он тебе?

— Как зачем? Надо.

— Пулю тебе в лоб надо, вот что... Шляешься тут в темноте, а твой командир с ног сбился, ищет...

Кто-то впереди позвал громким, сдавленным шепотом:

— Кравченко... Кравченко...

— Да тут я...— таким же шепотом ответил боец и скрылся в темноте. Некоторое время было слышно еще, как сыплется на дно оврага земля, потом опять стало тихо.

Ленька посидел еще немного, потом решил вылезти из оврага и пойти в ту сторону, откуда пришли бойцы. Заметить сейчас его уже никто не мог. Небо заволокло тучами, и ни звезд, ни луны не было видно. Начал накрапывать дождик. Время от времени где-то совсем рядом взвились ракеты. Ленька ложился на живот и ждал, пока они не погаснут. Ракеты бросали слева, и Ленька решил двигаться правее — там виднелись не то хаты, не то стога сена.

Прошел метров двести, как вдруг из-под самых ног кто-то:

— Майборода, ты?

Ленька вздрогнул.

— Какого лешего пропал? Нашел наших?

Ленька ударился обо что-то твердое. Заржала лошадь. Повозка, что ли?

— Чертова кобыла,— продолжал голос из темноты.— Ну, нашел, спрашиваю?

— А ты кого ищешь? — Ленька сел на корточки, стараясь рассмотреть говорившего. Голос доносился откуда-то снизу.

— Как кого? А ты кто?

— А ты?

— От нечиста сила! — выругался невидимка. — Податься им на том свете, всем этим фрицам и гитлерам. Холера им в бок! — И неожиданно перейдя на просительную интонацию: — Помоги, браток.

Взвилась ракета. При свете ее Ленька увидел накренившуюся набок груженую повозку, лошадь, спокойно щиплющую высокую траву, и бойца, уткнувшегося лицом в землю.

Ракета погасла.

— Подсоби, друг, — опять заговорил боец. — Может, вытянем как-нибудь. Майбороду только за смертью посылать. Говорил я ему — по дороге надо ехать.

— А что везете? — спросил Ленька.

— Да мины чертовы эти, кто их только придумал!

— Ну, давай... — Ленька обошел повозку и стал щупать колесо. — Э, друг, да оно сломалось у тебя.

Боец выругался длинно и заковыристо и стал объяснять, что капитан, мол, велел как можно скорее доставить мины и Майборода — вечно он чего-нибудь придумает — сказал, что так, мол, через поле, на добрый километр короче. Вот и докатились. А тут еще фриц из минометов каждые двадцать минут шпарит.

В это время явился откуда-то и сам Майборода.

— Копыця, где ты?

— Явился. Ты б еще три часа гулял.

— Нашел. Метров триста отсюда.

— Спасибо тебе в шапочку. Колесо сломали.

— Ну?!

— Вот те и ну.

— Холера чертова... А капитан уже ругаются. Двести метров, говорит, осталось, а там танки ихние уже гуркочат.

— «На километр короче, на километр короче...» —

передразнил первый.— С этой шкапой только и сокращай. Сколько их там, в повозке?

— Штук шестьдесят, что ли.

— В десяток ходок уложимся?

— По четыре за раз брать — уложимся,— ответил Майборода.

— Может, вот парень еще подмогнет. Где ты там?

Стали в темноте разбирать мины. Оказалось, что они не минометные, как решил сначала Ленька, а саперные здоровенные деревянные ящики, килограммов этак по шесть-семь. Пришлось связывать их попарно проволокой, а чтобы не резало плечи,— снять гимнастерку и подложить под проволоку. Возились долго — искали в повозке проволоку, обматывали мины. Наконец пошли: Майборода впереди, за ним Копыця, последним Ленька. Идти было трудно — грунт мягкий, много воронок, под ногами ничего не видно, винтовка мешает, при каждой ракете садись на корточки. Ко всему Майборода в темноте, очевидно, сбился — триста метров давно уже позади остались.

То тут, то там натыкались на окапывающихся бойцов— должно быть, пехота занимала оборону. Хорошо, с минометами еще повезло — немцы перенесли огонь левее, не пришлось пережидать.

Майборода вдруг остановился.

— Вот здесь, кажется.— И скинул мины наземь.— Кидай!

Ленька осторожно снял свои и положил рядом. От напряжения весь был мокрый, хотя шел без гимнастерки и даже без рубашки.

— Капитан... а, капитан! — сдавленным шепотом позвал Майборода. Никто не отвечал.— Товарищ капитан, где вы? Мы мины принесли.

— Они там...— донесся откуда-то со стороны слабый голос.— На минном поле.

— Кто это? Русинов? — спросил Майборода.

— Ага.

— Ранен, что ли?

— Да вроде как. А Кирилюка наповал. Так там и остался.

— Да где же ты?

— Тут, у лопат... А капитан там. Мины ставит... за-
место меня.

— Далеко?

— Да нет. Метров пятьдесят. Правее туда.

— Доложить бы надо,— неуверенно сказал Майборода и кашлянул.— Противопехотных не ставили?

— Нет, не ставили. Валяй смело, не подорвешься... Водички нет, ребята?

— На повозке осталась. Подожди до следующей ходки.

Из темноты неожиданно появилась фигура.

— Сюда, сюда, товарищ капитан,— обрадовался Майборода.

Тот, кого называли капитаном, сел на корточки.

— Где пропадали, черти? Из-за вас... А это кто — третий?

— Боец один, мины подсобил тащить. Повозка-то сломалась.

Капитан выругался.

— А сколько привезли?

— Шестьдесят.

— Черт! Не везет просто. Двоих из строя вышибло, через час светать начнет.— Капитан в сердцах сплюнул.— Ну ладно. Так сделаем — Майборода с Копыцей за минами, чтоб через полчаса все были здесь. А ты... Как твоя фамилия?

— Богорад.

— Поможешь Русинову до расположения добраться. Он дорогу знает.

Раненый заворочался в темноте.

— Не надо, товарищ капитан. Я здесь, в окопчике, полежу. Пускай лучше мины таскает.

Капитан помолчал, потом посмотрел на часы со светящимся циферблатом.

— Два часа уже. Вот бежит время! — И встал. — Солдат, где ты?

— Здесь.

— Бери мины и за мной. Осторожно только.

Ленька отполз в сторону, разыскал мины, взвалил на плечи и, согнувшись, пошел за капитаном.

— Клади.

Ленька положил.

— Теперь слушай внимательно. — Капитан сел на корточки, взял Ленькину руку и стал шарить ею по земле. — Видишь, ямки вырыты? Рукой пощупай. Рядом с ней и клади мину. Через четыре метра будет другая, через четыре — еще одна. Потом второй ряд — то же самое. Понял? Вот это и будет твоя задача — все мины разнести по ямкам.

Капитан говорил шепотом, но так спокойно и неторопливо, что Леньке как-то легче даже стало. Он разложил принесенные четыре мины и пошел за другими. Когда уложил двенадцатую и вернулся назад, Майборода с Копыцей принесли уже следующую партию — на этот раз они обернулись довольно быстро.

Кругом было удивительно тихо. Шум моторов прекратился. Только где-то очень далеко пофыркивал пулемет. Дождик перестал, потом опять пошел — мелкий-мелкий, даже приятно разгоряченному телу. От темноты, от тишины, от того, что таскал эти мины, которые никогда в жизни не видал и от которых взрываются танки, было

жутковато, но Ленька старался ни о чем не думать, а только таскать и укладывать, таскать и укладывать.

Один раз, когда среди мертвой тишины где-то вдруг заскрежетало и заныло и высоко над головой пронеслись огненные хвостатые снаряды, Ленька бросился на землю и прижался к кому-то упавшему рядом с ним. «Страшно?» — услышал он над самым ухом и попытался перестать дрожать, но не смог. «Ничего, солдат, обвыкнешь! — Ленька узнал голос капитана. — А почему без рубашки? Может, потому и дрожишь?» Ленька ничего не ответил, поднял мины и пошел дальше.

Кончили, когда начало уже светать. Раза два немцы открывали огонь из минометов, но все обошлось благополучно. Собрали лопаты, ящики с оставшимися взрывателями и двинулись в расположение. Шли молча, один за другим, усталые, мокрые, тяжело шагая по размокшему чернозему. Двое бойцов вели раненого, двое несли убитого. Хотелось спать, больше ничего. Даже курить не хотелось. Когда пришли, Ленька камнем упал под первым кустом, так и не увидев в лицо тех, с кем провел свою первую боевую ночь.

3

— Эй ты, проснись... Орел!

Ленька вскочил и, ничего не понимая, захлопал глазами.

— Сколько спать можно? Ребята уже давно позавтракали.

Щупленький хитроглазый боец в выцветшей гимнастерке стоял перед ним и смеялся.

— А рубаха где твоя? Потерял с перепугу?

Ленька посмотрел по сторонам — действительно, в одних штанах, гимнастерки нет. Вот голова, забыл-таки там.

Боец подсел.

— Не узнаешь? Майборода.

— А-а... — неопределенно сказал Ленька и поежился: было довольно прохладно.

Майборода звонко шлепнул его по спине.

— Ну и здоров же ты, парень. Знал бы раньше, не отпустил бы, когда мины таскали! — Он критически осмотрел Леньку с ног до головы, тот до сих пор никак не мог проснуться. — Пойди хоть морду ополосни. Капитан уже спрашивал тебя. — И опять хлопнул его по спине. — Бычок, ей-богу. Да очухайся ты наконец! А я в повозке поищу — может, найду чего.

Через минуту он прибежал с майкой в руках — «валяй пока это, потом на складе поищем что-нибудь более подходящее». Ленька с трудом натянул на себя узкую ярко-оранжевую майку.

— Пошли к капитану. Пилотку только надень.

Но капитана в палатке не оказалось. Сидевший у входа боец — ординарец должно быть, — не поворачиваясь, буркнул «сейчас придут» и продолжал чистить песком котелок. Майборода вытащил из кармана круглую коробку с махоркой и развалился у входа в палатку. Кругом был лесок — молоденький, свеженький, летали какие-то желтые бабочки, где-то над головой стучал дятел.

— Да-а... А Кирилюка вот и нет, — сказал Майборода и протянул Леньке коробку. — Закуривай. И двое пацанов осталось. — Он как-то боком посмотрел на Леньку. — Не женат?

— Не... — почему-то смутился Ленька.

— А у того двое пацанов. И ведь тоже молодой, с двадцать третьего года. Ты с какого?

— С двадцать пятого, — ответил Ленька.

— А он с двадцать третьего. На два года только старше тебя. Весь Сталинград сохранился, а тут...— Майборода как-то с присвистом вздохнул.— Вон под теми сосенками похоронили. Я утром посмотрел, аж страшно стало. Вот по сих пор,— он провел рукой над бровями,— снесло. Так мозги и вывалились...

Помолчали. Майборода повернулся к ординарцу.

— А далеко капитан пошел?

— А я хйба знаю,— не поворачиваясь, ответил парень.— Мне пока не докладывают.

— Командир батальона, что ли? — спросил Ленька.

— Ага, сейчас командир. Орлик его фамилия — чудная такая. Был замкомбатом, а как майора Селезнева на Донце кокнуло, стал командиром.

— Тоже сталинградский?

Майборода мотнул головой.

— Нет, из новеньких. К концу Сталинграда только пришел. С госпиталя прямо. С палочкой еще долго ходил.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что капитан с майором были не в ладах. Майора в батальоне не любили — он был из тех командиров, которые на фронте тише воды, ниже травы, а в тылу расправляют плечи и без толку орут на подчиненных. С этого и начались раздоры.

— Ты про Ляшко, про лейтенанта, расскажи,— всучился в разговор ординарец, совсем еще молоденький паренек, тщетно старавшийся придать своему детскому голосу солдатскую грубость. Он уже кончил чистку котелка и старался ввязаться в разговор, но так, чтобы не уронить своего достоинства.— Здорово его капитан отбрил тогда, а?

— Дай бог как,— усмехнулся Майборода и повернулся к Леньке.— Напился, понимаешь, майор раз пьяный и лейтенанта Ляшко, командира первой роты, матом при всех обложил. И перед строем. Лентяй, мол, бездельник, вое-

вать не хочешь. А капитан стоит, слушает, покраснел весь, и челюсти только ходуном ходят. А потом: «Стыдно мне, говорит, за вас перед бойцами, товарищ майор. Ляшко — лучший офицер батальона и, когда перед строем стоит, четвертинкой из кармана не светит». Хлопнул хлыстиком, повернулся и ушел. Ну, после этого как началось, как началось... И к подворотничку, и к сапогам брезентовым придирается стал, и рапорт, мол, не так написан, и так далее, и так далее... Пока война не началась. А началась — майор сразу шелковым стал. Капитан, тот всегда с людьми — и на походе и на переправе, а майор, тот нет, больше все на повозочке или: «На НП, к комдиву пойду, покомандуй тут, капитан, без меня». Ну вот на НП-то его и поймала шальная пуля. Жаль, ранение пустяковое, мускул на руке задело, в неделю заживет. — Майборода сокрушенно вздохнул. — Да... С капитаном веселее как-то, ей-богу! — И неожиданно вдруг рассмеялся, черные хитрые глазки его даже заблестели. — Ну, а то, что бабы по нем сохнут, так разве это он виноват? Сами липнут как мухи...

— Когда на формировке стояли в Червонотроицкой... — начал было ординарец, но Майборода его перебил:

— А ты не вмешивайся. Чисти свой котелок и помалкивай. Вон все дно черное.

— Черное... черное, — обиделся ординарец. — Расселся тут, как барин, окурки свои паршивые накидал. Вон капитан идет, покажет он тебе.

— Ты чего там уже рычишь? — издали еще крикнул капитан. — Хозяином почувствовал себя?

Высокий, статный, в сбитой на ухо синей пилотке с голубым кантом, в расстегнутой гимнастерке, в легоньких хромовых сапожках, он шел ленивой, слегка вразвалку, походкой, сбивая хлыстиком листья с кустов.

— Вот ты какой, значит, — сказал он, подойдя и хлопнув Леньку хлыстиком по груди. — Богорад, кажется?

— Богорад Леонид.— как можно бойче ответил Ленька, расправив плечи и прижав сжатые кисти рук по швам.

— А отчество?

— Семенович.

— Ну заходи, Леонид Семенович, потолкуем.

И, наклонившись, вошел в палатку. Ленька и Майборода — за ним. Капитан бросил хлыстик на кучу травы, прикрытую одеялом, повернулся, засунул руки глубоко в карманы и, слегка раскачиваясь, осмотрел Леньку с головы до ног. Ленька стоял, выпятив грудь, поджав живот, в ярко-рыжей, треснувшей уже под мышкой майке, набрав полные легкие воздуха, чтобы казаться еще здоровее.

Капитан улыбнулся.

— Да ты не тужься. И так вижу, что здоровый. Копать умеешь?

— А что же тут уметь, товарищ капитан?

— А ну, согни руку.

Ленька напряг мускул. Капитан пощупал.

— Дай бог. Тебе бы такие, Майборода, хоть польза какая была бы. А то только языком и умеешь.

— Молодое, что вы хотите, товарищ капитан. А я уже старик, скоро тридцать. Языком-то легче, чем руками.

Ленька стоял красный от похвалы и не знал, что бы сделать такое, чтобы еще больше понравилось капитану.

— У вас гири нет, товарищ капитан? — спросил он.

— Какой гири?

— Обыкновенной. Пудовой, двухпудовой. Я одной рукой могу...

— Ладно,— перебил капитан.— У нас тут не цирк. У нас надо землю копать. По восемь, десять, пятнадцать часов. Пока орден заработаешь, не одно ведро поту поте-ряешь. Это тебе не пехота — в атаку ходить и «ура» кричать. Мины знаешь?

— Мины? — Ленька растерялся.

— Так точно, товарищ начальник. Те самые, что вчера таскал,— «ЯМ», «ПМД», «ПОМЗ». А? По глазам вижу, что и названия-то в первый раз слышишь. А «ТМБ»? Тоже не знаешь?—Капитан свистнул.—Плохо дело. А я-то думал...

Он сделал паузу и уголком глаза глянул на Леньку. Ленька стоял красный, растерянный. Ему до смерти хотелось понравиться капитану, но он не знал, как это сделать, и от беспомощности только краснел.

— У тебя что, направление есть какое-нибудь? — спросил капитан.

— Есть.

— А ну покажи.

Ленька полез в карман и вытащил мятый, замусоленный конверт. «Теперь все. В дивизию пошлет». Капитан прочел и вернул обратно.

— М-да... Так «ТМБ», значит, не знаешь?

— Не...— упавшим голосом ответил Ленька.

-- Годен, не обучен?

— Почему не обучен? В запасном нас...

— Чучело кололи? Коротким коли, сверху прикладом бей?

— Не только чучело,— обиделся Ленька.— Гранату кидать, и «Дегтярева» собирать и разбирать, и винтовку чтоб назубок, и по-ползунски лазить...

— Как, как? — переспросил капитан.

— По-ползунски, говорю, лазить.

Капитан рассмеялся.

— По-ползунски, говоришь? Ну, а сапером хочешь быть?

— Хочу.

— За неделю берешься выучить все наши премудрости?

-- Берусь, товарищ капитан.

— Вон он какой, смотри. Люди годами учат, а он за неделю...— И повернувшись к Майбороде: — Отведи-ка его к Ляшко в первую. И гимнастерку подыщи. Поприличнее только. А теперь — кругом, шагом марш!

Ленька лихо козырнул, повернулся на каблуках и строевым зашагал из палатки.

Капитан ему понравился: молодой такой и уже орден, и красивый, как черт,— кудрявый, смуглый, брови черные,— и отчаянный, должно быть, по глазам видно. Да и вообще все складывалось хорошо. И Ленька пошел на кухню знакомиться с поваром.

4

Саперный батальон, в который попал Ленька, входил в состав весьма заслуженной гвардейской дивизии — «Сталинградской непромокаемой», как в шутку называли ее бойцы. Боевое крещение получила она летом сорок второго года под Касторной, потом выстояла весь Сталинград, от начала до конца, и в начале марта сорок третьего собралась на восток формироваться. Но тут немцы захватили вторично Харьков, и дивизию спешным порядком перебросили на Украину, решив, очевидно, пополнить на ходу. К моменту прибытия ее на фронт немцев сдержали, бои прекратились и началось «великое стояние», длившееся месяца три, если не больше.

Расположились в живописных украинских селах с тополями, ставками и прочими деревенскими прелестями и принялись за то, что на языке военных донесений называется «боевой подготовкой», на языке же бойцов — «припуханием», иными словами — набирались сил, получали пополнение, изучали материальную часть, уставы, занимались тактическими играми: «взвод, рота, батальон в наступле-

нии, обороне, разведке», ну и — без этого никак уже нельзя — копали бесконечное количество окопов и ходов сообщения, всю землю вокруг сел изрыли.

Жили сперва в хатах, потом выстроили себе комфортабельные землянки, обзавелись подсобными хозяйствами, ели борщи из свежей зелени, пили молоко. Офицеры стали франтить: завели себе какие-то особенные кинжалы с пластмассовыми ручками, болтающиеся, как кортики, где-то у самых колен, шили новые гимнастерки и галифе, увлекались только что полученными погонами — втискивали под подкладку куски жести и целлулоида, чтобы не мялись, — и мастерили из плащ-палаток легкие летние сапожки, крася их потом в черный цвет, чтобы не поймало начальство, запрещавшее использование плащ-палаток не по назначению.

Одним словом, отдохнули на славу, хотя, как это уже заведено, и ворчали, что нет хуже формировок: «То ли дело на фронте — никаких тебе конспектов, расписаний и занятий — войей, и только...»

Так прошел апрель, май, июнь.

Пятого июля над расположением дивизии целый день куда-то пролетали «кукурузники». На следующий день сводка сообщила, что начались бои в районе Курска. Вечером дивизия поднялась и двинулась на юг, а еще через несколько дней совместно с державшими оборону частями форсировала Донец и закрепилась на южном его берегу.

Саперный батальон в течение полутора суток обеспечивал переправу, к концу вторых суток с реки был снят и перекинут на передовую — минировать, разминировать и копать бесконечные НП и КП.

Вот в самом сжатом виде и вся история подразделения, рядовым бойцом первой роты которого стал Ленька Богорад. Выдали ему автомат, новую гимнастерку с погонами, негнущиеся английские ботинки сорок первый номер,

саперную лопату, на которой он сразу вырезал ножом «Л. Б.», и в очередном донесении дивинженеру цифру в графе «Личный состав батальона» увеличили на единицу, не вдаваясь в излишние подробности.

И сразу Ленька стал своим человеком. Во-первых, у него был веселый нрав, а уж одно это много стоит, во-вторых, был он услужлив и покладист, в-третьих, любил работать — вернее, не любил бездельничать. Ко всему этому у него была славная морда — курносая, веселая, с кучей веснушек, разбросанных по всему лицу, вплоть до ушей.

Первое время над ним немножко подтрунивали, вспоминая, как он забыл на передовой свою гимнастерку, но Ленька так добродушно все это принимал и сам так забавно рассказывал о впечатлениях той ночи — как тащили они втроем мины и как потом он «ванюши» испугался, — что все остроты отскакивали от него, как от брони. Когда же при копке котлована для опергруппы штаба он перекрыл вдвое все существующие в наставлении нормы земляных работ, оставив далеко за собой такого здоровилу, как Тугиев, даже ничему никогда не удивляющийся лейтенант Ляшко сказал: «Ого!»

На второй день крикливый и бранчливый повар Тимошка, у которого лишней ложки каши никогда не выклянчишь, подкидывал ему в котелок добавочный кусок мяса, начальник артснабжения разрешил разобрать и собрать трофейный «вальтер» и сделать даже парочку выстрелов, а пухленькая розовощекая Муся — писарша штаба, — жеманно складывая губки, говорила: «Вы очень, очень похожи на моего одного очень, очень хорошего знакомого», — и в меру своих возможностей загадочно улыбалась. Даже замполит, серьезный очкастый майор Курач, благоволил к Леньке, хотя в вопросах политики Ленька разбирался, пожалуй, не лучше, чем в высшей математике.

Одним словом, Леньку все полюбили, а он если иногда и злоупотреблял этим, то, во всяком случае, не часто и никому не во вред. Вообще же чувствовал себя со всеми хорошо и свободно и только черт знает почему одного капитана Орлика стеснялся. Подойдет капитан, станет, глаза черные с золотистым отливом, слегка насмешливые, и эта сбитая пилотка над чубом, засунет руки в карманы и спросит: «Ну как, Леодин Семенович, не надоело копать, может, перекур устроим?» Сядет, закурит, ребята вокруг смеются, острят, а Ленька как воды в рот набрал. Или позовет к себе в палатку и по саперному делу начнет что-нибудь спрашивать, вроде экзаменует. А Ленька в два дня все мины назубок выучил, и как заряжать, и как бикфордов шнур зажигать, а вот надо блеснуть перед капитаном — и все из рук валится, и спички ломаются, не зажигаются.

Короче говоря, Ленька влюбился в капитана. Влюбился так, как влюбляются школьники в своих старших товарищей. Пытался даже подражать его манере курить и походке, но разве в этих бутсах пройдешь так легко! А капитан не замечал или делал вид, что не замечает, и Леньке оставалось только мечтать о том дне, когда он отличится в бою или, еще того лучше, рискуя собственной жизнью, спасет капитана от смерти. Вот тогда он увидит, на что Ленька способен. Но случай этот не подворачивался, батальон занимался теперь самым прозаическим на фронте занятием — рыл землянки и рубил лес для перекрытия, — и спасти капитана можно было разве только от штабных начальников: каждый из них требовал, чтобы именно его блиндаж был сделан в первую очередь и перекрыт не в два, а в четыре наката.

На южном берегу Донца, начиная от Изюма и дальше на восток, завязались бои. Несколько позднее в сводках Информбюро о них писалось: «Бои местного значения, имеющие тенденцию перерасти в бои крупного масштаба». Дивизия, в которую входил батальон, обогнув слева Богородичное, прошла с боем еще несколько километров, очутилась перед селом Голая Долина и там стала. Немцы окопались, подтянули технику и пытались даже перейти в контрнаступление, которое, правда, окончилось безуспешно, но на довольно долгое время задержало наше продвижение вперед.

В ходе боев одному из полков дивизии удалось захватить немецкую дальнобойную батарею — шесть громадных стопятидесятичетырехмиллиметровых гаубиц. Полк получил благодарность, но командир его, предчувствуя, что немцы попытаются отбить пушки обратно, затребовал роту саперного батальона — пускай заминируют батарею хотя бы против танков.

Первая рота как раз кончала маскировку землянок для опергруппы штаба, когда прибежал запыхавшийся Шелест — тот самый ординарец Орлика, который чистил котелок, — и сообщил, что «капитан велели к новой землянке не приступать, а сейчас же в расположение возвращаться».

По дороге Ленка подлатался к Шелесту.

— Наступать, что ли, будем?

— Не отступать же, — уклончиво ответил Шелест. Парень он был неплохой, но как человек, ближе других стоящий к начальству и раньше всех узнающий все, немного задирал нос.

— Говорят, двадцать седьмой батарею какую-то захватил?

— Говорят.

— Ну, а капитан что говорит?

— Живот, говорит, болит.

— Ну тебя! Как человека ведь спрашиваю.

Шелесту самому до смерти хотелось рассказать последние новости, но надо ж набить себе цену, поэтому минут пять он еще пыжился, пока не сообщил наконец, что Богородичное наши взяли, но много народу потеряли и что у фрица «ванюш» до черта и какие-то «тигры» и «фердинанды» появились, танки, что ли, новые. Говорят, ни один снаряд пробить их не может.

— А на минах рвутся?

— На минах? — Шелест этого не знал, но, не желая терять достоинства, отвечал, что на минах рвутся, только не так быстро. Что значит «не так быстро», он еще не придумал, но сама по себе эта деталь казалась ему вполне правдоподобной.

— Между прочим, капитан лейтенанту Ляшко говорил, чтоб внимание на тебя обратил.

— Как это — внимание? — Ленька насторожился.

— Ну, чтоб подзанился с тобой. Парень, говорит, туповатый, так ты сам с ним позанимайся, а то скоро на задания пошлем, того и гляди подорвется на mine.

На самом деле разговор проходил в несколько других тонах, но почему в конце концов не подразнить парня?

— Так и сказал — туповатый?

— Так и сказал.

— Врешь!

— Нечего мне делать, как врать. Такой, говорит, медведь неотесанный, сегодня чуть-чуть мне голову, говорит, учебной гранатой не оттяпал.

— Так прямо лейтенанту и сказал?

— Так прямо и сказал. А лейтенант подумал-подумал

и говорит...— Шелест на минутку остановился, чтобы придумать, что же ответил лейтенант.

— Ну?

— И говорит ему, значит: «А может, мы зря его к себе в батальон взяли?»

— А капитан?

— Да не перебивай ты, черт! «Может, говорит, отдадим его в стрелковый полк какой-нибудь, меньше хлопот будет?»

— Ну, а капитан?

— А капитан похмыкал там чего-то и говорит: «Может, и отдадим. Попробуем, говорит, на первом задании, проверим, стоящий ли парень или так, дерьмо».

— Это ты уж трепешься — «дерьмо» не говорил.

— Может, и похуже сказал.

— А ну тебя к лешему! — Ленька обиделся и отошел.— Придумал все...— Но на душе стало горько и противно.

...Вот вернется он с первого своего задания, подорвет этот самый «тигр», или как его там, и никому ничего не скажет. Вернется и спать ляжет. А на следующий день по батальону только и разговору — кто ж это «тигра» подорвал? А он молчит, ни звука. Тугиев? Нет. Сержант Кошубаров? Нет. Может, сам лейтенант Ляшко? Тоже нет. Кто же тогда? А все дело в том, что из батальонных никто и не видал, как он подорвал, видали стрелки только. Вот они и скажут своему командиру, а тот своему, и так далее, до самого верха,— боец, мол, Богорад из восьмидесят восьмого «тигра» подорвал. И вот генерал вызывает его... Нет, из-за этого генерал не сгнет к себе вызывать, просто благодарность в батальон придет: «За то-то и за то-то объявляю, мол, благодарность бойцу Богораду Леониду Семеновичу». И капитан тут как покраснеет, хлыстиком начнет по сапогу бить и спросит: «Что же это ты мол-

чал, Богорад?» И тут ему Ленька ответит: «А чего мне было говорить, когда меня из батальона отчислить хотят и дерьмом считают». А капитан ему...

В этом месте Ленька споткнулся обо что-то и со всего маху налетел на впереди идущего.

— Ты що, сказывся, чи що? Очи повилазили?

Ленька ничего не ответил, отошел в сторону, но нить рассказа была уже порвана, и что ответил ему капитан, так и осталось неизвестным.

В расположении успели только быстро, на ходу, поужинать и сразу двинулись в путь. До батареи было километра четыре или пять, и Ляшко надеялся до рассвета успеть заминировать хотя бы основные направления. Но на фронте не всегда получается так, как хочешь. Ляшко решил сэкономить во времени, и пошли не дорогой, а лесом — один из самых ненадежных способов, когда торопишься, — в результате к батарее пришли, когда стало совсем уже светло. Мины, отправленные на четырех повозках, давно уже ждали их на месте. Начальник штаба полка, рыжий, потный, вконец задерганный майор Сутырин, неистовствовал.

— Вы бы еще через неделю пришли, мать вашу за ногу! Разбаловались там на своих КП и НП для начальства, а как на передовую — так калачом не заманишь.

Ляшко почесывал двумя пальцами небритый подбородок — этого человека трудно было вывести из себя, — спокойно слушал майора и, когда тот сделал паузу, чтобы набрать воздуха в легкие, спросил:

— Кто мне покажет танкоопасные направления?

Майор опять взвился:

— Ему еще направления показывай! Вот, вот, вот — везде направления! — Он тыкал пальцем во все стороны. —

Они с минуты на минуту танки могут бросить! Что мы будем тогда делать? Я вас спрашиваю — что мы будем делать? Ну, чего же вы молчите?

Ляшко прекрасно понимал состояние майора. Сам он воевал с первого дня войны, побывал во всех возможных переделках, видал на своем веку не одного начальника, сейчас даже сочувствовал несчастному начальнику штаба — он его знал еще по Сталинграду — и спокойно, не вступая в ненужные споры, ждал, когда тот наконец изольет свою душу. Но майор за пять минут до этого получил выговор от начальника штаба дивизии за поздно присланное донесение и еще долго поносил бы и Ляшко, и его роту, и его батальон, и вообще всех саперов, если бы, на счастье Ляшко, не подошел к ним инженер полка Богаткин. Немолодой уже, с седеющими висками и перевязанной левой рукой, незаметно подошел и стал рядом, подмигнув Ляшко, — они тоже были старые знакомые. Майор сразу перекинулся на него.

— Вот, инженер, явились твои хваленые саперы! Что хочешь, то и делай с ними. Надоело мне все это. В лесу, видишь ли, прохлаждались, пока мы за пушки эти чертовы здесь воюем.

Инженер устало улыбнулся.

— К телефону тебя зовут. Сорок первый.

— Дежурного там, что ли, нет? Все Сутырин, за всех Сутырин.

— Ну ладно, ладно, иди уж.

Майор выругался и побежал в землянку.

Инженер опять улыбнулся.

— Замотали старика, ей-богу. А так — душа-парень. Ты сколько людей привел?

— Да всю роту. Приказали роту.

— Многовато, конечно, но ничего, скорей справимся. Где люди?

— Вон яблоки уже трясут.

— Запрети. Комендантский уже двух солдат из-за яблок потерял. Жара, воды не хватает, вот и трясут с утра до вечера.

— А это не из-за яблок? — кивнул на перевязанную руку Ляшко.

— Чепуха. Пулей задело. Снайперы у них неопытные, не сталинградские.

Где-то совсем недалеко раздался щелк миномета, и почти сразу же несколько мин разорвалось в саду. С деревьев посыпались яблоки. Бойцы бросились подбирать. Ленька инстинктивно прижался к земле, но, увидев, как солдаты, ни на что не обращая внимания, ползают по саду и собирают яблоки, тоже, чтобы не отстать от них и не показаться трусом, набил себе карманы мелкими, совершенно еще зелеными «кислицами», как их тут называли.

— Отставить яблоки! — крикнул издали Ляшко и направился к бойцам.

Вместе с ним шел инженер и еще какой-то сержант.

— Петренко, бери свой взвод и пойдешь вот с сержантом, — сказал Ляшко и, увидев Леньку, добавил: — Ну, Богород, с праздником тебя святого крещения.

— Не подкачаем, товарищ лейтенант! — Ленька почувствовал, как у него начинает пересыхать во рту.

Ляшко вынул из бокового кармана громадные, как у паровозного машиниста, часы.

— К пяти ноль-ноль чтоб было все готово, Петренко. Ясно?

6

Надолго запомнилось Леньке это утро — раннее июльское утро с только-только выглянувшим из-за яблоневого сада краешком солнца, с дрожащими на травинках росин-

ками, с пробежавшей у самых его ног полевой мышью, обернувшейся, посмотревшей на него и юркнувшей в только ей одной известную и больше никому на всем земном шаре норку. Запомнил и толстую яблоню, на которой уже кто-то вырезал ножом «Б. Р. С. июль 43», и как сержант скручивал последнюю, обязательную перед каждым заданием цигарку, и как у него слегка тряслись пальцы и он рассыпал махорку и стал подбирать ее с земли. Потом просвистела над головой пуля, и Ленька наклонился, а сидевший рядом с ним боец Антонов засмеялся и сказал: «Рано кланяешься, Ленька». Свистнула не пуля, а птица — есть такая сволочная птичка, которая свистит, как пуля. Потом Петренко сказал «подъем», и все, кряхтя, поднялись и пошли, и Касаткин забыл, конечно, свою лопату и с полдороги должен был за ней возвращаться. Шли сначала по саду, потом спустились в маленький овражек, или «ложок», как называли его бойцы-сибиряки, и довольно долго двигались по дну ложка. Впереди — Петренко, командир взвода, рослый, плечистый, с широким рябым лицом, за ним — Антонов обычной своей косолапой, медвежьей походкой, придерживая рукой приклад винтовки, чтобы не стучал о лопатку. За Антоновым — Ленька; шел и смотрел на его красный, свежеподстриженный затылок и удивлялся, когда он, холера, успел подстричься, вчера ведь еще лохматый ходил. Потом вышли из ложка и оказались в кустарнике. Прошли немного по кустарнику, дошли до его опушки, и Петренко сказал «ложись». Все легли: направо от Леньки — Антонов, налево — долговязый Сучков, который сразу же вынул из карманов хлеб и стал жевать.

«Хорошо, что Антонов рядом,— подумал Ленька,— он-то уж собаку на минах съел, парень стреляный-перестрелянный». А Антонов глянул уголком глаза на Леньку — тот чистил щепочкой винты на автомате — и в свою очередь подумал: «Пока ничего, не очень дрейфит». Потом

Ленька засунул щепочку в пилотку и, подперев голову руками, от нечего делать стал рассматривать впереди лежащую лужайку.

— На бинокль,— толкнул его в бок Антонов,— на фрицев посмотри.

Ленька взял, вдавил в окуляры глаза и стал водить слева направо. Лесок, сосенки, лужайка, опять лесок, опять сосенки.

— Ну, нашел?

— Не...

— А ты прямо против себя смотри.

Ленька посмотрел прямо и увидел — прямо перед самым носом! — двух бегущих солдат. Один отстал, сел на корточки, потом встал и побежал следом за первым. Даже винтовки видно, и что без гимнастеров оба, и что рукава засучены. Ленька стал еще водить и нашел еще одного. Он сидел на дереве, вроде как на площадке, и тоже смотрел в бинокль.

— О, смотри, смотри, наблюдатель!

— Чего орешь? Обрадовался...— Антонов отобрал бинокль.

Ленька посмотрел без бинокля и ничего не мог разобрать. Вот чертова штука! Сидит фриц на дереве и тоже, вероятно, видит Леньку. Вот скажет сейчас кому-нибудь, и по ним огонь откроют. Но тут же успокоился: солнце светило из-за спины, и фрицы не могли их рассмотреть...

Подполз Петренко. Показал ему, Антонову и Сучкову, куда вести первый ряд. Подтащили мины, стали копать ямки. Немцы не стреляли, грунт хороший, дело шло быстро. Ленька копал ямки — раз, два, три, и ямка готова,— Антонов клал мину. Сучков прикрывал ее дерном и присыпал ветками. «Давай, давай, Сучков, не отставай — пять штук только осталось».

И вдруг как началось... как стало рваться со всех сто-

рон! И снаряды, и мины, и черт его знает что еще. Ленька еле успел отскочить в окопчик — хорошо еще, выкопал их здесь кто-то, — уткнулся мордой в землю, зажал коленями уши и так сидел, скрючившись, закрыв глаза, стиснув зубы, и считал только: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть...» Потом и считать перестал.

Очнулся Ленька оттого, что его кто-то сапогом тыкал в спину. Высвободив голову из колен, посмотрел вверх — над ним лицо Антонова, что-то кричит, а что — никак не поймешь. Вылез из окопчика. В двух шагах от него Сучков лежит, ноги раскинул, голову руками обхватил. И чего он так по-глупому лежит? Немного дальше Антонов, уже лежит, и спина у него дрожит. Повернулся на секунду, лицо красное, губы сжаты, рукой только махнул — ложись, мол, — и опять отвернулся. Ленька подбежал к Антонову, лег рядом с ним и только сейчас увидел, что тот стреляет. Впереди по полю прямо на них бежали немцы — человек десять или двадцать, а может, и больше. Ленька прижал автомат к щеке и пустил очередь, потом вторую, третью. Немцы бежали и кричали и, кажется, стреляли, потом стали падать, потом начали рваться мины, и они побежали назад.

— А-а-а-а! — закричал неожиданно для самого себя Ленька и вскочил.

Антонов больно ударил его прикладом «ППШ» по ноге.

— Ложись, дура!

Ленька плюхнулся на живот, а Антонов опять ударил его, на этот раз по голове, чуть выше уха.

— Чего дерешься? — огрызнулся Ленька.

— Молчи, пока живой. Патроны есть еще?

Ленька пощупал рукой висевший на поясе в мешочке запасной диск, снял его и положил рядом. Искоса посмотрел на Антонова, потом на Сучкова. Тот все так же лежал, раскинув ноги и обхватив голову руками. «Отвоевался», —

мелькнуло в мозгу у Леньки, и он отвернулся. Откуда-то справа доносилась еще стрельба, потом и там утихло.

— Сорвалось пока.— Антонов отложил автомат и посмотрел на Леньку.— Ну как?

— Да ничего.— Ленька попытался улыбнуться.

Антонов соорил вдруг гримасу.

— Э, брат, да тебя уже того... Что это у тебя под ухом?

Ленька пощупал — липкое. Посмотрел на руку — красное. Кровь...

Но тут Петренко крикнул: «Кончай ряды, пока тихо», и они с Антоновым стали укладывать оставшиеся мины.

К шести утра рота успела поставить пять минных полей — на одно больше, чем хотел того начштаба Сутырин, из них два — взвод Петренко. Антонов с Ленькой были на первом месте — вдвоем они поставили шестьдесят четыре мины. Ленька чувствовал себя героем. Голова его была перевязана, и на вопросы бойцов он с пренебрежительным видом отвечал: «Да так, ерунда, царапина». Лейтенант Ляшко сказал ему: «Был бы у меня фотоаппарат, сфотографировал бы тебя — вид у тебя больно геройский». А инженер с седыми висками, узнав, что Ленька новичок и уже столько мин поставил, сказал: «Давай догоняй старичков, чтоб не зазнавались». И Ленька сиял, и краснел, и из скромности говорил, что это все Антонов — без него он все равно что нуль без палочки,— и жалел, ох как жалел, что не было тут капитана Орлика...

И только смерть Сучкова, молчаливого долговязого Сучкова, не давала ему насладиться триумфом. Они не были друзьями — он и Сучков,— более того, Сучков был единственным, с кем Ленька повздорил в батальоне, и Леньку всегда злило, что Сучков без конца жевал хлеб и на земляных работах каждые пять минут устраивал пере-

кур, но это был первый — первый убитый немцами человек, которого он знал. Недавно еще только разговаривали, и Сучков у него еще газетки для курева попросил, и он ему дал, а тот сказал «хорошая, не рвется», а вот сейчас лежит он, руки вытянул, глаза закрыл, и бойцы ему могилу копают. И когда на него, завернутого в плащ-палатку, упали первые комья земли, Ленька почувствовал, как к горлу его что-то подкатило, и он часто-часто заморгал глазами.

7

Задание было выполнено, минные поля поставлены, можно было идти домой. Но майор Сутырин, панически боявшийся танков,— а они все не шли и не шли, а он их все ждал и ждал — упросил Ляшко оставить один взвод до вечера.

— Ты понимаешь,— говорил он уже совсем другим тоном, чем утром, просительным, заискивающим,— дорога у меня тут одна паршивая еще есть. Если пустят танки, то обязательно по ней, вот увидишь. А сейчас светло, никак к ней не подступиться. Оставь ребят до вечера, они вмиг все сделают. А я им за это,— он щелкал себя пальцами по шее,— на сон грядущий выдам по маленькой.

Ляшко, как и утром, почесывал подбородок и, тяжело вздыхая, дразнил майора.

— Права не имею, товарищ майор. Все прекрасно понимаю, но не имею права. Приказано всем без исключения после выполнения задания в распоряжение вернуться.

Майор обнимал Ляшко за спину — он был на голову ниже его и до плеч не мог дотянуться — и не отставал.

— Ну, не мсти мне, не мсти мне, Ляшко. Я утром погорячился, сам понимаю, но надо же быть человеком. Я б и своих послал, да их, сам знаешь, как кот заплакал, и в раз-

гоне все, по батальонам. А у тебя ж орлы, одно слово — орлы, повернуться не успеем, как все сделают. А я их и обедом и ужином накормлю, по две порции дам! — И он просительно заглядывал в глаза Ляшко. — Ну как? Договорились? А? Ну не мучь меня.

Кончилось тем, что майор уговорил-таки Ляшко, дав клятвенное обещание — «вот тебе крест святой», и он три раза истово перекрестился, — что к двадцати четверем первый взвод будет на месте.

Второй и третий взводы уже ушли. Первый расположился в немецких артиллерийских землянках и завалился спать. Один только Ленька, возбужденный происшествиями сегодняшнего дня, не мог заснуть. Приставал сначала к Антонову с различными вопросами, потом к Петренко, они что-то бурчали ему в ответ невразумительное, наконец просто обложили матом, и Ленька стал слоняться по батарее, щупая и ковыряя пушки, пока его и оттуда не погнали. Забрался в сад, наелся кислых яблок до оскомины и бурчания в животе и прибился наконец к полковым разведчикам — удалым хлопцам в пестрых шароварах, расстегнутых гимнастерках и с кинжалами за поясом. Ночью они ходили в разведку, задержали на дороге заблудившийся немецкий грузовик, привели «языка»-шофера и притащили два чемодана трофеев. Сейчас, устроившись в одной из землянок, дулись в очко на трофейные часы и прочее барахло. Ленька поставил единственную свою ценность, перочинный ножик с двенадцатью предметами, и через час выиграл двое часов — одни с черным, другие с желтеньким циферблатом, — самописку в зеленых разводах и бритвенный прибор в беленькой пластмассовой коробочке. Потом разведчики угостили его коньяком, и кончилось все тем, что он у них заснул, не заметив даже как.

Проснулся, когда стало уже темнеть. Разведчики ушли на какое-то свое задание, и в землянке был один только

старшина, перебивавший взводное имущество. Ленька с перепугу, что все проспал, побежал к своим, а там набросился на него Петренко:

— Где тебя носило? Всю батарею обыскали, весь сад, с ног сбились... И уже наклюкался где-то. А ну, дохни.

Ленька дохнул.

— Так и есть. Без году неделя в батальоне, а уже номера выкидывает. Это что тебе — запасной полк, что ли, или боевая единица? Капитан пришел, где Богорад, спрашивает, а что я ему отвечаю?

Ленька стоял, вытянув руки по швам, и молчал. И нужно ж ему было к этим лихим разведчикам попадать — занесла нечистая сила! — как раз когда капитан пришел. Не везет, ну просто не везет!

— А, нашелся, бродяга, — раздалось вдруг у него за спиной. Ленька вздрогнул, узнав голос капитана. — Где пропал?

— Разведчики здесь рядом. К ним вот заскочил, — самым, каким только умел, невинным тоном ответил Ленька.

— Водку хлестал с ними, а?

Ленька почувствовал, что краснеет.

— Ну, чего стесняешься? Угощали водкой?

— Коньяком... — еле слышно ответил Ленька.

Землянка чуть не развалилась от хохота.

— Это что ж, чтоб голова не болела? — Капитан указал на Ленькин бинт и присел на снарядный ящик. — Напиться есть у кого? Только не коньяку.

Несколько рук протянулось к капитану.

— Яблочки вот хорошие, кисленькие.

Петренко хлопнул по одной из рук так, что яблоки разлетелись в разные стороны.

— Отставить! И выкинуть их все к чертовой матери! И так все желудки порасстраивали. Палкой из кустов не

выгонишь. Майборода, принеси-ка воды, там, около пушки, бачок стоит.

Капитан встал.

— Ладно. Шутки в сторону. Сколько у тебя людей, Петренко?

— Со мной десять.

— Оставишь себе шестерых, хватит по уши, а мне дашь Антонова, Тугиева и... — капитан обвел глазами землянку, поочередно останавливаясь на каждом, — ну и... — остановился на Леньке. — Здорово тебе в голову заехало?

— Да какое там здорово... Просто...

— Ясно. Зрение хорошее?

— Ничего.

— И ночью хорошо видишь?

— Вижу...

— Значит, этих троих — Антонова, Тугиева, Богорада — я беру с собой. А остальных веди на задание. Ох, уж этот мне Сутырин — всю жизнь мечтал с ним воевать. Только чтоб к двенадцати все уже на месте были.

— А мы и за час управимся. — Петренко встал. — Дома еще ужинать будем.

— Ну все. Собирай людей. А вы трое — за мной!

Капитан вылез из землянки, осмотрелся и направился к яблоням. Солнце уже село, и в воздухе пахло сыростью. Группа солдат, устроившись под пушкой, вполголоса пела какую-то украинскую песню. На пушке сохли кальсоны и рубашки. Откуда-то очень издалека доносилась гармошка.

— «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут...» Садись, ребята. Закуривай. — Капитан сел под яблоню, ту самую, где было выцарапано «Б. Р. С.», и вытащил пачку «Казбека». Антонов даже языком щелкнул.

— Откуда это у вас, товарищ капитан?

— А ты не спрашивай, закуривай. Подарили люди добрые.

Антонов подмигнул Леньке — знаем, мол, что это за люди.

— А штуку эту придется тебе чем-нибудь замотать. — Капитан указал на Ленькин бинт.

— Можно и вообще скинуть.

— Не скинуть, а замотать, я сказал. В темноте, как фонарь, светит. К немцам сейчас пойдем. Прямо в логово ихнее. Ты вот вблизи их никогда не видал. Надо ж посмотреть, правда?

— Надо, — без особой уверенности ответил Ленька.

Капитан улыбнулся.

— Ну, не к самим немцам, но, в общем, поближе к ним. Завтра предполагается операция маленькая, ну и нам с вами надо на двух участках проверить, нету ли полей минных. И провернуться должны как можно быстрее, чтоб вторая рота успела сделать проходы. Бурлин придет сюда к двенадцати — значит, в нашем распоряжении три, максимум четыре часа. Ясно?

— Ясно, — ответил Антонов. — А далеко идти?

— Сейчас узнаешь. Возьмешь Тугиева, — я Богорада. Твой участок — дорога на Голую Долину, мой — левее, где разрыв между рощами. От передовой до немцев — метров триста; значит, до мин — метров двести — двести пятьдесят. За три часа должны успеть. Каждому взять по две гранаты «РГД» и проверить автоматы. Финки тоже с собой взять. На все это даю пятнадцать минут. Сбор здесь, у яблони. Шагом марш!

Все трое пошли в землянку.

— Ты за ним следи, за капитаном, — шепотом сказал Антонов. — Он знаешь какой? Обязательно во что-нибудь впутается.

— Как это впутается? — не понял Ленька.

— А уж придумает как. «Языка» захочет притащить

или что-нибудь в этом роде. Так ты не давай. Время, говори, истекает, рота ждет.

— Да он же и сам знает, что ждет.

— Знать-то знает, но и я его знаю. Ты думаешь, из штаба приказали именно ему идти? Сказали — послать офицера, вот и все, а он возьми да и сам. Шло у него в одном месте торчит.

Когда вернулись к яблоне, капитан сидел в той же позе, только с картой на коленях, и что-то мерил на ней циркулем.

— Ну что, все готово?

— Все, товарищ капитан.

— Пошли тогда.

— Это вам.— Антонов протянул две гранаты.— Свеженькие, краской еще пахнут.

Капитан подвесил гранаты на пояс, заправил гимнастерку и протянул руку Тугиеву, затем Антонову.

— Ни пуха ни пера.

— Вам того же,— улыбнулся Антонов. Тугиев, как всегда, молчал.— И помните, что Бурлин в двенадцать придет.

— Помню. А что?

— А ничего. Просто так.— Антонов опять улыбнулся и пожал Ленке руку.— Навалило на тебя сегодня, только держись.

Они расстались и пошли в разные стороны: Антонов с Тугиевым — мимо пушек по дороге, Ленка с капитаном — прямо через кустарник.

8

Почему Орлик выбрал Богорода, не кого-либо из более опытных ребят, он и сам не знал. Когда шел из расположения батальона на передовую, он твердо решил — Анто-

нова послать с Тугиевым, а Петрова с Вахрушевым. В разведке они бывали не один раз, ребята все опытные, бывалые, сталинградцы. Да и сам-то он вовсе не собирался идти — дивинженер так и сказал (Антонов был прав): «Пошлите кого-нибудь из командиров рот или нет, даже из командиров взводов, только потолковее». А вот пришел в землянку, глянул на Богорада — стоит смущенный, мнется, и с коньяком этим самым умора, — как-то само собой в голову пришло: а почему не послать его? «Ей-богу, может, и неплохой разведчик получится — парень расторопный, сообразительный, как будто не трус, а с разведчиками сейчас как раз особенно туго стало, из солдат только Вахрушев и Тугиев остались. Надо и им смену готовить. Возьму да пошлю».

И тут же вдруг захотелось и самому пойти. «Прослежука за Богорадом, как он там со всем этим делом справляется. Да и вообще осточертели все эти землянки да блиндажи для начальства, будь они трижды прокляты». Так и решил — с собой Богорада взять, а Антонова с Тугиевым послать.

Сейчас они шли через кустарник — до передовой было около километра, — и где-то, невидимые, заливались кузнечики, и над самой головой стремительно проносились ласточки.

— «Мессеры»... — улыбнулся Ленька. — Может, и дождь будет, больно низко летают. — И, пройдя несколько шагов, добавил: — Давно дождя не было. Земля вишь как потрескалась.

Дождей действительно давно уже не было — с той ночи, пожалуй, когда Ленька попал в батальон. Трава совсем выгорела, стала сухой и желтой. Ленька наклонился, взял горсть земли и растер ее между пальцами.

— Вон и червяк похудел. Посмотри, какой стал. — Он протянул руку капитану и пересыпал ему в ладонь сухую,

как порошок, землю.— Дать ему, что ли, напиток из фляжки?

Орлик посмотрел на часы.

— Присядем-ка. Подождем, пока совсем стемнеет.— Он почувствовал, что с Леньки соскочила его обычная скованность, и захотелось поговорить с ним.

— Что ж, подождем...— Ленька с готовностью согласился и сел под кустом, поджав ноги по-турецки.

Орлик сел рядом и, стянув сапог, стал перематывать портянку.

— Тихо как, а? — шепотом, очевидно, чтобы не нарушить этой самой тишины, сказал Ленька, и тут же, как будто нарочно, совсем рядом щелкнул миномет, и мина, просвистев над их головами, разорвалась где-то позади.

Капитан глянул уголком глаза на Леньку.

— Не боишься уже?

— Кого?

— Да мин.

— Мин? — Ленька пожал плечами, потом спросил: — А вы?

Капитан улыбнулся.

— Я с ними давно уже знаком. Вот здесь вот,— он хлопнул себя по ноге, чуть выше колена,— три осколка берегу... А первые недели на фронте кланялся довольно-таки усердно.

— А вы давно воюете?

— С самого начала. С июня сорок первого.

— И теперь совсем уже не боитесь?

— Чего?

— Ну вот идти сейчас на задание хотя бы...

Орлик опять улыбнулся.

— А ты хитер, я вижу, в контратаку перешел. Ну как тебе сказать?— Он стал подыскивать подходящее объяснение, но никак не мог найти.— И да и нет как-то...

— Вот и я так думаю. Шел вот и думал. Человек, ведь он не хочет умирать, правда? А раз не хочет, то это уж и значит, что боится. Правда?

— Ну, допустим, что так...

— А идти надо, вот как нам сейчас с вами. А может, нас убьют или покалечат, а мы все-таки идем. И вообще...

Ленька вдруг умолк, поймал муравья и стал его рассматривать.

— Что вообще?

— Ну так, вообще... Воюешь вот, воюешь, а с кем и не знаешь...

— То есть как это — не знаешь? — Орлик даже удивился.— Два года воюем, а ты и не знаешь?

— Ну, не то что не знаю... Знаю, конечно. Знаю, что есть Гитлер, фашисты, что они хотят всю Россию завоевать и весь мир... Но раньше, лет сто или двести назад, не так было, правда? Сойдутся два войска и дерутся. Он тебя, а ты его — кто кого. А теперь...— Ленька сдунул муравья с ладони и посмотрел, куда он упал.— Убило вот недавно у нас Сучкова. Когда минное поле ставили. Вы его знаете, высокий такой, с нашего взвода. Прилетела мина и убила. А он живого фрица ближе как за триста метров никогда и не видел. Да и я тоже...

— Ну, это счастье успеешь еще увидеть,— сказал Орлик и с силой всунул ногу в тонкий хромовый сапог, но тут же вытянул ее.— А ну, дай-ка мне свой ножик знаменитый, торчит там пакость какая-то, гвоздь, что ли...

Ленька вынул нож, открыл отвертку и протянул капитану.

— Этим лучше всего.

Капитан стал возиться с гвоздем, и Ленька умолк. А ему хотелось еще о многом поговорить. Ну что это за война? Все с воздуха прилетает. Вот сейчас хотя бы: кругом тишина, красота, ласточки летают, жучки разные пол-

зают, и вдруг, откуда ни возьмись, прилетает кусок железа — и прямо в тебя. И даже неизвестно, кто выстрелил... Или минное поле... Прячешь в землю ящики с толом и старательно-старательно их маскируешь травой, веточками там разными, и все это, чтоб обмануть. А потом сами подрываемся, как в тридцать третьем полку было два дня назад... И вообще, кто это войну выдумал? И когда самая первая, самая-самая первая война произошла? Лет тысячу назад, или две, или больше? И из-за чего она началась? И еще хотелось Леньке сказать о другом. О том, что идет он вот сейчас вместе с ним, с капитаном, на свое первое задание и, конечно же, ему страшно, но пусть капитан не беспокоится, он выполнит любое его приказание, даже больше, а если они столкнутся вдруг с немцами... Пусть, пусть столкнутся, он даже хочет этого — он не подкачает, он с любым фрицем справится, он видел, когда шел на фронт, в одном селе повешенных немцами партизан, пять человек, и среди них девушка, совсем молоденькая девушка, лет семнадцати-восемнадцати, не больше... И еще о многом хотел сказать и спросить Ленька, именно здесь, в лесу, когда рядом никого нет, только они вдвоем с капитаном, но капитан не слушал его, старательно всовывал ногу в сапог, а потом встал и веселым своим голосом сказал:

— Ну что, философ, пошли, что ли? — И протянул ему нож, знаменитый нож с двенадцатью предметами. — Хорошее оружие. Где достал?

Ленька спрятал нож в карман.

— В Свердловске еще, на толкучке. На сахар выменял. Несколько минут шли молча — Ленька впереди, капитан сзади. Он нарочно отстал. Ленька шел, тихо раздвигая кусты, придерживая правой рукой автомат, чтобы не стучал о запасной магазин. Вид у него уже был самый что ни на есть заправский — обмотки в самом низу, не доходя до икры, гимнастерка кургузая, ладони на полторы ниже

пояса, ремень матросский с якорем на бляхе (у разведчиков выменял), пилотка крохотная на самом ухе и, несмотря на жару, суконная — тоже особый шик. «Еще бы парочку медалей,— подумал Орлик,— и кто бы сказал, что парень и месяца на фронте не провел».

Ленька повернулся и спросил вдруг:

— Можно вопрос задать, товарищ капитан?

— Чего ж нельзя? Задавай.

— Это правда, что вы водки не пьете?

— Вот те раз! — Капитан даже рассмеялся. — Откуда ты это взял?

— Бойцы говорят.

— Бойцы, бойцы... Что ж, по-твоему, я перед строем этим делом заниматься должен, так, что ли? И вообще, почему это тебя интересует?

— А так...

— То есть как это — так?

— Ну просто... — Ленька несколько замялся. — Я не знаю, правда, может, солдату и нельзя с офицером, но я вот, товарищ капитан, очень хотел бы с вами выпить... честное слово.

Капитан весело рассмеялся и обнял на ходу Леньку за плечи.

— А что, нельзя? — спросил Ленька.

— Почему нельзя? Все можно, гвардии рядовой. Дай только до Берлина дойти.

Где-то впереди и левее заскрежетал «ванюша», и в фиолетово-прозрачном еще на западе небе медленно, одна за другой, обгоняя друг друга, пролетели огненные кометы. Потом загромыхало где-то сзади.

— У-у... сволочи! — выругался Ленька и остановился. Кустарник кончился. — Теперь куда?

— Теперь финку в зубы, на живот — и за мной.

Ленька не мог вспомнить потом, сколько времени они проползли — час, два, а может, и всю ночь. Не мог вспомнить, и о чем он думал тогда, и было ли ему страшно. Полз, и все — капитан впереди, он сзади. Сердце только сильно стучало, и он все боялся, что капитан услышит и выругает его потом, и поэтому сдерживал зачем-то дыхание — может, меньше стучать будет, но сердце все стучало и стучало и в груди, и в голове, и в руках, и в ногах — везде... Один раз они попали в какое-то болотце, промокли, и капитан еле слышно сказал «левее», и они стали огибать его слева. Потом попали в лесок или рожицу — вероятно, ту самую, которую он рассматривал когда-то в бинокль.

«Ого, как далеко заперли», — мелькнуло у Леньки в голове. Ползти было неудобно: с непривычки болели колени и локти, от финки сводило челюсти, мешали гранаты и запасной магазин. Но он все полз и полз, боясь отстать от капитана, перебирая руками и ногами, глотая слюну и прислушиваясь к окружающей тишине.

Наконец, слава богу, повернули назад.

Никаких мин нигде не обнаружили. И немцев тоже. Черт его знает, куда они делись, — даже ракет никаких.

Попали на знакомое болотце, обогнули его. Впереди, в темноте, наметились смутные очертания двух расщепленных снарядами груш — до своих, значит, уже недалеко. И вдруг... Капитан остановился. Ленька чуть не ударился носом о его сапоги. Как был с протянутой рукой, так и застыл. Где-то правее, шагах в двадцати, слышны были голоса. Кто-то говорил сдавленным шепотом, кто-то отвечал. Потом умолкли. Ленька впился в темноту так, что в глазах поплыли зеленые круги. Как будто курит кто-то. Мелькнул огонек и погас. Ленька почувствовал, как в нем все сжалось и напряглось. Сердце уже не стучало — оно тоже притаилось. Во рту пересохло. Он вынул изо рта финку, подтянул правую ногу, потом левую, беззвучно подполз

к капитану. Тот, не поворачивая головы, нащупал Ленкину руку и крепко сжал ее. Ленька понял... Медленно, затаив дыхание, пополз в сторону огонька.

9

Ленька лежал на траве и смотрел широко раскрытыми глазами в небо — черное, без единой звездочки. Сильно болела шея. Большой палец на левой руке был вывихнут и распух. Гимнастерка и даже майка распороты ножом сверху донизу. Нож прошелся по груди и животу, но как-то странно, оставив только легкую, даже не кровоточащую царапину. Немец оказался очень сильным, и Ленька долго возился с ним, пока тот не притих окончательно.

Капитан ушел куда-то докладывать о результатах разведки. Кругом было тихо — чуть-чуть только шумели сосны над головой и откуда-то издали доносилось ржание лошади. Лейтенант Ляшко с ребятами давно ушли. Ленька остался один. Полк был чужой: кроме разведчиков, он в нем никого не знал, да и вообще ему сейчас никого не хотелось видеть. Почему-то все время трясло мелкой противной дрожью. И шея болела. Трудно было голову повернуть.

Мимо прошел боец. Ленька окликнул его и попросил спичек. Тот дал. Ленька чиркнул и, заслонив огонек ладонями, еще раз внимательно осмотрел финку. Нет, крови на ней не было. Значит, когда он ударил немца, он попал в ранец или противогаз. И все-таки он ткнул несколько раз финку в землю, потом старательно обтер ее краем гимнастерки.

...Немец почти сразу же выбил у него из рук финку. Потом они долго молча катались по траве. Потом... Ленька опять задрожал. Он встал и, вскинув автомат на плечо,

пошел по лесу. Шагов через двадцать столкнулся с капитаном. Было темно, но капитан сразу узнал его.

— Ты куда?

Ленька ничего не ответил.

— А я за тобой. Начальству доложено, Бурлина назад отправил с Антоновым и Тугиевым, а нам с тобой можно и передохнуть.— Капитан слегка толкнул Леньку в спину.— Пошли.

Ленька не спросил куда, решил, что в расположение, но, миновав дальнобойную батарею, капитан повернул не направо, а налево, к артиллерийским землянкам.

— Кто идет? — раздался в темноте хриплый голос.

— Ладно, ладно, свои.— Капитан даже не убавил шагу.— Темнота эта чертова... Какая тут инженеровая землянка? Эта, что ли?

После лесной непроглядной тьмы в землянке казалось ослепительно светло. В глубине, за самодельным столиком, в расстегнутой гимнастерке сидел капитан Богаткин, листал журнал. В углу храпел связист.

— Вот он, наш герой,— весело сказал Орлик, входя.— Леонид Семенович Богорад. Прошу любить и жаловать.

— А мы уже знакомы.— Инженер устало улыбнулся и встал.— А вид действительно геройский.

Ленька только сейчас вспомнил, что гимнастерка на нем разорвана, и торопливо стал засовывать ее в штаны.

— Постой, постой, герой! — Инженер подошел к нему и провел пальцем по твердому, покрытому пушком Ленькиному животу.— Это что, раны боевые? Давай-ка мы их зеленкой. У нас тут все есть.

Он по всем правилам намотал на спичку вату, окунул ее в пузырек и нарисовал на Ленькином животе яркую зеленую полосу от ключицы до пупка.

— Повезло тебе, брат. Все внутренности сохранил. Пригодятся еще. А теперь застегивайся и садись.

Ленька запахнул гимнастерку, как халат, и вправил ее в штаны. Гранаты и запасной магазин снял с пояса и положил рядом с автоматом в углу.

— Ну чего ты там возишься? — окликнул его Орлик. — Иди-ка сюда. Покажу тебе нового твоего знакомого.

Ленька, продолжая вправлять гимнастерку, подошел к столу.

— Узнаешь? — Орлик протянул фотографию.

На маленькой карточке с неровными, точно оборванными, краями улыбался курносый, с вихорком на лбу, светлоглазый парень в расстегнутой белой рубашке. Орлик бросил на стол еще две карточки. На одной тот же парень, в одних трусах, на пляже, сидит, обхватив руками колени, рядом — девушка в купальном костюме и резиновой шапочке. На второй — старик в высоком воротничке, старушка, и тот же парень, и та же девушка: он — в пиджаке и галстукe, тщательно причесанный, без вихорка, она — в светлом платье, с цветком в волосах.

Ленька поднял глаза на капитана. Тот весело смотрел на него и, собрав карточки, держал их сейчас веером в вытянутой руке.

— Иоганн-Амедей Гетцке. Обер-ефрейтор. Родился в городе Мангейме в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Убит на русском фронте в тысяча девятьсот сорок третьем году, в районе Голой Долины, в ночь на... Какое сегодня число, Богаткин?

— Двадцать пятое, — сказал инженер.

— В ночь на двадцать пятое июля убит советским солдатом Леонидом Богорадом... Узнаешь теперь, солдат?

Ленька, не отрываясь, смотрел на карточку, на улыбающееся, веселое, курносое лицо. Там, в поле, у разбитых снарядами груш, он не видел этого лица. Но эту шею, крепкую круглую шею... Он отвернулся, он не мог на нее смотреть.

* * *

Орлик был весел и говорлив. После всего происшедшего он испытывал нервное возбуждение, и сейчас ему хотелось говорить, действовать, быть активным.

— А ну, хозяин, не жмись, не жмись. Вываливай на стол все свои богатства.

Он быстро и ловко очистил стол от бумаг и папок, покрыл его газетой.

— Тебе 6 такого ординарца, Богаткин, а? Возьми к себе, не пожалеешь.

Богаткин известен был на всю дивизию тем, что, как он сам говорил, не признавал «института денщиков»,— сам подшивал себе подворотнички, стирал носки, носовые платки. Сейчас он деловито, по-хозяйски, вытер полотенцем граненый стакан, крышку от фляжки и стаканчик для бритья, потом достал из-под стола две бутылки коньяку и, тоже обтерев их полотенцем, поставил на стол. Орлик со знанием дела стал разглядывать этикетки.

— Неважные у тебя, брат, саперы. Могли бы и французский достать.— Двумя ловкими ударами он выбил пробки и понюхал горлышко.— Нет, ничего, жить можно. А закуска?

Богаткин положил на стол плитку шоколаду в коричневой с золотом обертке и плоскую баночку сардин. Орлик прищелкнул языком.

— Живем, Богорад. Тут у нас целый интернационал— коньяк венгерский, шоколад швейцарский, сардины португальские. Ел когда-нибудь сардины, сознайся? Пальчики оближешь. Да оторвись ты от этих карточек. На Гретхен златокудрую загляделся.

Ленька молча протянул фотографию.

— А бабка ничего, а? — Орлик, прищутив один глаз, посмотрел на фотографию.— У покойничка, видать, губа не дура была...

Ленька исподлобья глянул на капитана и опустил глаза.

— Не надо так, товарищ капитан...

Но капитан не расслышал или сделал вид, что не слышит, подошел к столу, взял стаканы и протянул один Леньке.

— За твое огневое крещение, Леонид Семенович! За вторую твою боевую ночь.

Ленька молча стоял, опустив голову.

— В первую ты познакомился с минами. И с нами. А во вторую — с этим самым, с Гетцке... Ну, чего приуныл? — Капитан взял его за подбородок. — Пей, развеселишься.

Ленька отрицательно мотнул головой.

— Ты что, болен? Богаткин, дай-ка градусник. Ей-богу, он заболел.

— Разрешите идти, товарищ капитан, — очень тихо сказал Ленька.

— Куда? — Орлик стоял перед Ленькой, держа в одной руке бритвенный, в другой граненый стакан, оба полные до краев. — Куда идти?

— Никуда... Подожду вас снаружи.

— Но ты ж сам еще вечером, когда мы шли на задание...

Ленька поднял голову и посмотрел капитану в глаза.

— Разрешите идти, товарищ капитан, — так же тихо, настойчиво повторил он.

Капитан круто повернулся, подошел к столу, поставил стаканы, постоял так несколько секунд, потом, не поворачиваясь, сказал «иди» и, когда Ленька вышел, залпом, не чокнувшись, выпил полный стакан.

Орлик долго стоял над спящим Ленькой. Свернувшись калачиком, он лежал под кустом, сжав коленями автомат и совсем по-детски подложив под щеку сложенные ладони.

Во сне он шевелил губами, вздрагивал. И вокруг на траве, в кустах лежали такие же ребята, укрытые шинелями, телогрейками, по двое, по трое, прижавшись друг к другу, и всем им что-то снилось, и все они что-то бормотали, вздыхали во сне.

Был четвертый час, начинало уже светать, но птицы еще не пели, самолеты еще не появились. И хотя именно сейчас надо было идти к себе в батальон, Орлику жалко было будить этого спящего мальчика, так крепко сжавшего коленями автомат. А может, не только жаль, может быть, он просто оттягивал ту минуту, когда этот мальчик проснется, откроет глаза и посмотрит на него.

«Цвирик... цвирик... цвирик...» Проснулась первая птичка. «Цвирик... цвирик...»

Ленька поежился, почмокал, повернулся на спину, почесал голый живот, потом потер нос, зевнул и открыл глаза. И в глазах этих было сейчас только детство, только небо, только невероятное желание спать.

«Цвирик... цвирик... цвирик...»

АВГУСТ-ФРИДРИХ- ВИЛЬГЕЛЬМ

Король — это звучит гордо.

Шекспир, «Король Лир»

Случай, или, точнее, знакомство это, произошло в Дрездене в мае сорок пятого года, через несколько дней после капитуляции Германии. Вернее, даже не в Дрездене — он весь был разрушен американской авиацией, — а в шести километрах от него, в очень живописном городишке Пильнице, на берегу Эльбы, где расположился наш батальон.

Жили мы тогда в замке, принадлежавшем когда-то саксонским королям, — в их летней резиденции. Кругом был парк, какой и должен быть вокруг замка, с древними липами, тенистыми аллеями и задумчивым прудом, по которому, вероятно, когда-то плавали лебеди. Общее впечатление портил только дворец — нелепейшее сооружение с колоннами, носившее претенциозное название «Хинезишес Палэ» — «Китайский дворец», хотя китайского в нем, кроме каких-то нарисованных якобы в китайской манере фигурок на карнизе, не было ничего.

В замке жили престарелые художники, целыми днями где-то пропадавшие и приходившие поздно вечером с наполненными до отказа рюкзаками. Жили они в правом флигеле дворца, я со своим батальоном — в левом.

Война кончилась, но работы было много. Ежедневно приходилось ездить в Дрезден и заниматься там разминированием и приведением города в порядок. Ночевать возвращались в Пильниц.

И вот как-то вечером возвращаюсь я из города усталый и голодный — по дороге еще произошла авария с машиной, задержавшая нас на добрых полтора часа, — и встречает меня во дворе сержант Черныш — дежурный по батальону, хитроглазый украинец.

— Вас там, товариш капитан, якийсь старычок немець дожыдае.

— А что ему нужно? — спрашиваю.

— Нэ знаю, нэ каже.

— «Лебенсмитель», должно быть. Направил бы прямо к старшине.

«Лебенсмитель» — продукты питания — облеченная в приличную форму просьба поесть, первая фраза, которой научились наши бойцы от немцев.

— Ни, вас, кажэ, трэба.

— А где он?

— Да там, в зали, сыдыть.

Старичок оказался маленьким, сухоньким, на вид лет шестидесяти с небольшим, но еще подвижной и довольно сохранившийся, с обвислыми, как у породистой собаки, щеками, довольно бодро торчащими подкрашенными усами и невероятно аккуратно причесанными, реденькими волосиками на голове. Одет он был, несмотря на жару, в пальто со слегка потертым бархатным воротником, из-за которого выглядывал другой, уже стоячий, крахмальный, очень узенькие брюки в полоску, лайковые перчатки кре-

мового цвета, а за спиной, как у всякого добропорядочного немца, болтался, точно горб у голодного верблюда, полупустой рюкзак.

При виде меня лицо старика приняло смешанное выражение удивления, восторга и гордого достоинства — весьма сложное и неожиданное сочетание чувств.

— О-о-о! — сказал он и, слегка наклонив голову вбок и вперед, сделал несколько мелких шажков по направлению ко мне.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал я.

— О-о-о! — повторил старичок, как будто это предложение его крайне обрадовало, и, ловким, привычным движением скинув рюкзак, уселся в кресло. Я тоже сел.

— Чем могу быть полезен?

Старичок скрестил ноги, соединил кончики пальцев и, опять-таки наклонив вперед и вбок голову, приятно улыбнулся.

— Я чрезвычайно рад, герр оберст, — (я был только капитаном, но старичок возвел меня почему-то в полковники), — чрезвычайно рад, герр оберст, что имею дело с таким высококультурным и образованным человеком, — (опять-таки я не совсем понял, какие у старичка были основания сделать этот вывод, но возражать не стал, бог с ним). — Мне также весьма приятно приветствовать в вашем лице человека, который, став, так сказать, хозяином этого прекрасного дворца, сумел невзирая на трудности и сложности военного времени...

— Если можно, покороче. У меня мало времени, к тому же я очень устал.

— О да, да. Я понимаю. — Он быстро и сочувственно закивал головой. — У вас много работы. Американцы разрушили город. И мне говорили, что вы приводите его в порядок. Это очень порядочно с вашей стороны. После того что...

Я взглянул на часы. Было около восьми, а встали мы в четыре.

— Ближе к делу? Я понимаю. Русские деловые люди. Они не любят терять время даром.— Он сделал паузу и, наклонившись слегка вперед, заговорил вдруг конфиденциальным тоном:— Поэтому я и пришел к вам, как к деловому человеку. Деловой человек к деловому человеку. Война войной, а дело делом. Не правда ли?

Он галантно улыбнулся и вопросительно посмотрел на меня. У него было невероятно подвижное лицо, как у актера или приказчика галантерейного магазина. Чувства и переживания, которые он в данный момент испытывал, сменяли одно другое с непостижимой быстротой. Иногда отыгравшее уже чувство не успевало еще уйти с его лица, как появлялось новое, и тогда они наслаивались одно на другое. Черныш, как-то потом уже, сказал, что старичок очень забавно «мордой хлопочет», и нам всем очень понравилось это выражение. Он, действительно, то закатывал глаза и быстро-быстро начинал моргать, то вдруг таращил их, то насупливал брови, то подымал их так, что лоб уходил куда-то на затылок, щеки его тряслись, фиолетовые усы топорщились, рот то складывался в трубочку, то растягивался в приятную улыбку, обнажая вставные зубы, которые, когда он особенно усердствовал, казалось, вот-вот вывалятся изо рта наружу.

Я сидел, смотрел на этого «хлопочущего мордой» старичка и невольно ловил себя на том, что куда внимательнее слежу за его мимикой, чем за ходом его мысли.

А он тем временем продолжал:

— Я пришел поговорить с вами, герр оберст, по очень важному и существенному для меня делу. Я пришел поговорить об этом дворце, об этой усадьбе, так сказать.— Он опять сделал паузу, довольно продолжительную паузу.— Видите ли, герр оберст, этот дворец и эта усадьба принад-

лежат мне.— При этих словах он встал и не без изящества отвесил легкий поклон.

— Вы хотите сказать, принадлежали?

В глазах старичка мелькнула и сразу же исчезла настороженность, уступив место обезоруживающей, невинной улыбке.

— Как вам сказать... Принадлежали, принадлежат... Это, в конце концов...

Он не закончил фразы, пожал плечами и, усевшись опять в кресло, выжидательно стал смотреть на меня, скрестив по-прежнему ноги и соединив кончики пальцев.

Я ему сказал, что, насколько мне известно, этот дворец принадлежал когда-то саксонским королям, где они сейчас — неизвестно, да, в конце концов, и не очень интересно, что в доме живут теперь престарелые художники, что высылать их никто не собирается и что вообще все будет в порядке. К концу разговора я осведомился, с кем имею честь беседовать.

Старичок встал. Мне даже показалось, что он стал немного выше.

— Меня зовут Август-Фридрих-Вильгельм Четвертый. До ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года я был королем Саксонии.

Он опять поклонился, и в поклоне этом, кроме изящества, была уже и какая-то торжественность.

Не буду врать — я опешил. Я ожидал чего угодно, только не этого. Я никогда в жизни не встречал королей. Разве что Людовика XIII и Ричарда Львиное Сердце в романах Дюма и Вальтера Скотта. Да иногда в старой «Ниве» мелькнет фотография «Престарелый шведский король Гаокон такой-то на отдыхе в Ницце» или Альберт бельгийский, в каске и обмотках, награждающий каких-то солдат. Вот и все. Одним словом, представление об этой категории лиц имел довольно туманное. То же, что сейчас

сидело передо мной — суетливое, с фиолетовыми усами и бесконечными «герр оберст», — рушило все мои представления о тех, кто в книгах назывался августейшими монархами.

Я предложил папиросу. Август-Фридрих-Вильгельм IV с охотой взял. Похвалил табак. Я предложил ему пачку. Он сказал: «О-о-о» — и спрятал ее в рюкзак.

Заговорили о жизни — так надо было, очевидно, из вежливости, прежде чем опять приступить к делам. Старик жаловался на американские бомбежки, на Гитлера (это специально для меня), на тяжелую жизнь. Когда восемнадцатый год, «ох, этот тяжелый, незабываемый восемнадцатый год!», лишил его короны, он решил посвятить себя искусству.

— О! Искусство! Самое святое, что осталось еще в жизни. Оно над всем. Оно не знает войн и революций. Оно парит над нами как... как... — глаза его слегка увлажнились, и он не закончил фразы.

— Вы пишете? — спросил я его.

— Нет, к сожалению, я не пишу. Бог не наделил меня этим... Но я помогаю художникам. Я помогаю бедным старым художникам. — В этом месте его голос слегка дрогнул. — Я даю им кров, которого они лишены.

— Вы им сдаете комнаты? — уточнил я.

— Да. Я им даю кров, которого они лишены. И они очень мне благодарны.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что у старичка таких дворцов, как в Пильнице, еще три и что все четыре он сдает, вернее, сдавал, и вот теперь его очень интересует — «ведь мы с вами, герр оберст, люди деловые», — у кого он должен получить разрешение, «или как это у вас называется», одним словом, где он может оформить свои права на владение этими четырьмя дворцами.

В самых вежливых выражениях я ему дал понять, что

этот вопрос пока еще не решен и что, когда он будет решен, его, Августа-Фридриха-Вильгельма, об этом поставят в известность, а пока, если он не возражает, я могу его снабдить кое-какими «лебенсмителами».

О бедный, бедный король. С каким видом он укладывал в свой рюкзак консервы и хлеб, выданные ему моим старшиной Федотиком. Он все время повторял свое «о!», причем каждый раз на более высокой ноте, и на лице его можно было прочесть весьма длинную фразу, обозначающую приблизительно следующее: «О, как это все тяжело! Но что поделаешь — жизнь, увы, устроена так, что иногда и венценосцам приходится прибегать к услугам добрых людей. Это горько, очень горько, но отнюдь не постыдно, и вы понимаете меня, герр оберст».

Когда мы шли по двору, он указал на дворец и сказал:

— Не правда ли, прекрасное сооружение? Оно обошлось моему отцу в... — и он назвал какую-то значительную сумму, бесспорно доказывавшую художественные качества дворца.

Он стал довольно часто заходить ко мне. Он приезжал на стареньком велосипеде, оставляя его около ворот, и любезно приподнимая котелок, шел через весь двор к моему флигелю. Черныш сияя докладывал: «До вас опять цей самый, король ихний...», — а из-за его спины уже выглядывал, тоже сияющий, Август-Фридрих-Вильгельм со своим неизменным рюкзаком, с которым никогда не расставался.

— Морген, герр оберст. Сегодня чудная погода.

Он садился в кресло, закуривал папироску и каждый раз восторгался русским табаком:

— Прима, прима!

Насчет дворца и усадьбы он больше не говорил. Его интересовало уже другое.

— Вот вы скажите мне, пожалуйста, герр оберст, как,

на ваш взгляд, могли бы отнестись ваши власти к тому, чтоб я открыл, например, небольшое дело. Ну, совсем пустяк, какой-нибудь... Дрезденские дамы, например, очень страдают сейчас от отсутствия шляпок. Дама всегда остается дамой. Что поделаешь? Война войной, а дама дамой,— он игриво улыбался и слегка хлопал меня по колену.— Вот и хочется как-то помочь им...

— Так же, как вы, в свое время, помогали художникам?

Он делал вид, что не понимает моей шутки, а может, и действительно не понимал.

— Вот именно, вот именно. Я, моя супруга, дочь и ее муж, очень приличный, воспитанный господин, не нацист и никогда им не был. Вот и все. Никакой наемной силы, никакой эксплуатации, так что, с вашей точки зрения,— он опять очень мило улыбался,— никаких, так сказать, нарушений...

Я ничего не мог ему посоветовать, так как был несведущ в этих вопросах, и каждый раз он очень огорчался.

Как-то раз он явился со своей супругой, такой же, как он, сухонькой, тоже в каком-то крахмальном воротничке, в кружевных перчатках и с громадным старомодным зонтиком с крючком. Звали ее как-то очень длинно, но я запомнил только одно имя — Амалия. Она больше вздыхала и ахала, осматривала комнаты и даже где-то пощупала обвалившуюся штукатурку. К концу разговора она спросила, не знаю ли я, будут ли с них брать налоги за их предполагаемое маленькое дельце, и если да, то какие. Я сказал, что не знаю. Она была явно разочарована.

А как-то он притащил в своем рюкзаке два громадных семейных альбома. Это были пудовые фолианты, тисненые кожей, с гербами на переплетах и массивными застежками. Внутри было сборище королей, принцев и курфюрстов со всеми их семействами. Сам Август-Фридрих-Виль-

гельм изображен был более чем в двадцати видах: пухлым младенцем с задранными сверху ножками, томным отроком в бархатных штанишках и с кружевным воротничком, усатым буршем в корпоративной шапочке, еще более усатым офицером какого-то кавалерийского полка и, наконец, в королевском облачении — в мантии, короне, весь усыпанный орденами. Усы у него тогда торчали, почти как у Вильгельма, и в глазах было даже что-то монаршее.

Уходя он подарил мне большую фотографию, где он и его Амалия были изображены — он в безукоризненном фраке, она в подвенечном платье. Оба были молоды, красивые, и в руках у них были большие букеты роз.

— Это когда я еще был кронпринцем, — пояснил Август-Фридрих-Вильгельм. — Мне было тогда двадцать четыре, а Амалии двадцать один. Не правда ли, она здесь очень мила? Совсем грёзовская головка. Кайзер Вильгельм II, когда увидел ее — мы уже тогда соединились, так сказать, узами Гименея, — погрозил мне пальцем и сказал: «У тебя есть вкус, Август». А он был большой знаток женщин. Кстати, она из очень хорошей фамилии. Отец ее, младший сын великого курфюрста... — И он начал рассказывать одну из своих обычных бесконечных историй, которыми буквально вгонял меня в гроб. Он знал все, что происходило при дворах германских княжеств и герцогств с начала XX века. Он знал родословные всех монархов и их приближенных, знал все тайны и интриги дворов, с точностью очевидца мог рассказать все связанные с ними альковные секреты, помнил все парады и торжественные обеды, гербы и туалеты, манеры и моды, — одним словом, это был король-энциклопедия.

Сначала меня это забавляло, потом стало несколько утомлять, а когда визиты участились чуть ли не до ежедневных, я велел Чернышу направлять старика прямо к Федотику за продуктами.

За день или два до того, как наш батальон должен был совсем покинуть Дрезден, я совершенно случайно опять столкнулся с «поверженной династией».

Я шел по одной из разрушенных улиц города, когда за моей спиной раздался знакомый голос:

— Герр оберст, герр оберст!

Я обернулся. Август-Фридрих-Вильгельм приветливо махал мне рукой и подзывал к себе. Он выглядел из какой-то щели полуразрушенного дома, а над головой его красовалась вывеска: «Шляпное дело м-ме Амалии». Вывеска была красивая — слева нарисована дамская шляпка и ленты, а над именем мадам Амалии лев и единорог, с закрученными хвостами и высунутыми языками, поддерживали корону.

— Прошу, прошу, герр оберст, заходите.

Я зашел.

Внутри было очень чистенько и уютно. На стенках висели картинки, в крохотном, выходявшем на улицу оконце стояла пышногрудый бюст улыбающейся дамы в кокетливой шляпке, а сама фрау Амалия, помолодевшая и посвежевшая, по-моему, даже подкрашенная, в светлом передничке и светлой наколочке, любезно улыбалась из-за прилавка. Рядом стояла поблекшая, с поджатыми губами, обиженного вида особа, очевидно дочь, и время от времени появлялся какой-то молчаливый субъект с висячими губами, по видимому тот самый очень приличный, воспитанный господин, не нацист, муж дочери. Заказчиков и покупателей я что-то не заметил.

— Как идут дела? — спросил я.

— Средне, герр оберст, весьма средне, — Август-Фридрих-Вильгельм покачал головой. — Сами понимаете, покупательная способность у населения невелика. И с материалом к тому же трудно. Хочется, чтобы все было все-таки

первосортным, а время такое, что первосортное, сами понимаете, не всегда удастся достать. Трудно, в общем, трудно,— он вздохнул.— Думаем вот параллельно начать открытки продавать. Старый, так сказать, Дрезден и новый. До и после. Вы меня понимаете? Любопытно? А? Как на ваш взгляд — спрос будет?

Он отошел к своей Амалии и о чем-то с ней зашептался. Потом неожиданно вдруг спросил меня:

— Ваша жена, герр оберст, блондинка или брюнетка?

— Шатенка, а что?

Они опять пошептались. Потом поблекшая дочка куда-то вышла и вернулась с большой круглой коробкой.

— Так вы говорите — шатенка? — опять спросил меня старик.

— Шатенка.

— Тогда вот, прошу. От меня и,— он сделал жест в сторону своей супруги,— фрау Амалии. Это носит сейчас вся Европа.

Он протянул мне коробку. В ней оказалась очень большая и очень уродливая шляпа розового цвета, с голубыми бантами и какими-то букетиками, приколотыми к разным местам. Я был очень тронут и поблагодарил.

Я пробыл еще минут десять в их магазинчике. Старик успел рассказать мне очередную историю о какой-то принцессе, пожаловаться на свой ревматизм, осведомиться, не знаю ли я, где можно достать пирамидон — у фрау Амалии по ночам страшные головные боли,— потом я попрощался и направился к выходу.

— Айн момент, герр оберст,— фрау Амалия любезно кивала мне из окошка кассы.— С вас пятьсот марок, герр оберст.

— С меня?..

— За шляпку. Вы нигде в городе так дешево не найдете.

Я вынул пятьсот марок — хорошо, что со мной были деньги,— и заплатил.

— Ауфвидерзеен, герр оберст,— сказала фрау Амалия, протягивая мне чек.

— Ауфвидерзеен,— как эхо повторили дочка и зять.

— Ауфвидерзеен,— сказал Август-Фридрих-Вильгельм, открывая передо мной дверь,— заходите, не забывайте. На днях уже открытки будут. Старый Дрезден и новый. Разрешите вам оставить серию?

Шляпку я подарил нашей поварихе — она осталась очень довольна, свадебную же карточку — ее сынишке. Он пририсовал обоим — и Августу-Фридриху-Вильгельму, и Амалии — роскошные усы и бороды, щеки раскрасил красным карандашом и утверждает, что оба они от этого стали значительно красивее.

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Я думаю, что не обижу людей, живущих в одном из самых, может быть, интересных городов земного шара, если скажу, что их чувства немного притупились. Волгоградцы любят свой город и гордятся им, как мало кто может и имеет право гордиться, и все же они привыкли к нему, привыкли к тому, что в нем происходит, и многое из того, что кажется им обыкновенным, чего они уже не замечают, замечаем мы, люди приезжие, замечаем и восхищаемся.

Если к тому же приезжий этот бывал здесь во время войны и видал то, что осталось от города в феврале сорок третьего года, то восприятие его — тут нет ничего удивительного — будет особенно остро, а чувствительность несколько повышена. И, конечно же, он будет вспоминать. Пусть не осудит читатель его за это. Вспоминать всегда интереснее, чем слушать воспоминания, и удержаться от этого очень трудно.

Всякий поймет волнение, с которым подходит человек к месту, где он когда-то воевал. В ТЭЦ тракторного завода

я, правда, не воевал, но я должен был ее взорвать. На мне лежала тяжелая и страшная обязанность включить рубильник в случае, если поступит такой приказ. Приказ этот так и не поступил, но весь сентябрь 1942 года мы жили в ожидании его. Мы — это пять человек, живших в небольшом блиндаже метрах в ста от станции. Лежа по вечерам на нарах, мы смотрели на этот ненавистный рубильник с черной ручкой, и все пятеро думали об одном. Это были невеселые мысли...

Среди нас пятерых был один электрик. Я не буду о нем подробно рассказывать. В повести «В окопах Сталинграда» он называется Георгий Акимович. Маленький, подвижной, он всем был недоволен, все и всех ругал, но работал как черт и в ТЭЦ свою был влюблен, как в девушку.

Когда нас, саперов, отозвали и мы шли по зыбкому пешеходному мостику через Волгу, он стоял на высоком правом берегу и махал своей кепкой с пуговкой. Долго еще видна была его маленькая фигурка на фоне горящего от бомбежек завода. Вот еще один человек прошел через твою жизнь и исчез, и, вероятно, никогда ты больше его не увидишь и не услышишь о нем. Война...

Сейчас кончится центральная заводская аллея, и налево будет ТЭЦ. Еще двадцать, десять шагов. Аллея кончилась. Налево ТЭЦ. Но она ли это? Я ее не узнаю. Она в два раза больше. Она расширилась. На ней никогда не было столько труб. Новые пристройки, надстройки.

Через несколько минут мы представимся начальнику, и я спрошу его, не работает ли у них маленький голубоглазый вспыльчивый инженер. Фамилию я его, к сожалению, забыл и имя тоже — ведь столько событий произошло после этого. Кажется, Вячеслав, если не ошибаюсь. Нас останавливает вахтер:

— Вам к кому?

— К начальнику.

— К Данилову?

Я вздрагиваю.

— Д-да... К Данилову.

Нас проводят в его кабинет. За большим столом у окна сидит и жует завтрак маленький голубоглазый человек в черной спецовке с выглядывающими из кармана карандашами и линейками. Господи! Да ведь он и тогда в такой же ходил! И такие же карандаши, такие же линейки.

Мы ходим с ним, с Даниловым Вячеславом Михайловичем, по тем самым местам, по которым ходили десять лет назад, раскладывая здоровенные мешки с аммонитом, где он часами бегал со своим неразлучным омметром и проверял целостность проводов между подрывной станцией и взрывчаткой — осколки немецких мин поминутно их рвали. Заходим в машинный зал, спускаемся вниз, под генераторы. Тут еще сохранились на стенке наши надписи, и мы радуемся им, как маленькие дети.

И когда вечером, усталые от встречи и воспоминаний, мы сидим на веранде небольшого даниловского домика, я смотрю на своего гостеприимного хозяина и думаю — да ведь ты такой же, как и был, — Вячеслав Михайлович, Слава, Георгий Акимович — такой же подвижной, энергичный, непоседа, и та же или похожая на нее курточка с карандашами в кармане... Тот и не тот. Так же, как и ТЭЦ, — та и не та. Она хорошо видна отсюда, с горы, — большая, многотрубная. Вот она задымила — слишком густо, слишком черно.

— Какого дьявола задымили! — кричит Данилов в телефон. — Прекратите!

И мне становится еще приятнее. Ведь я сижу в гостях и запросто разговариваю с человеком, который может вот так снять трубку и приказать, чтобы дым был не такой черный, и через несколько минут из труб ТЭЦ пойдет

более спокойный и светлый дым, из труб той самой ТЭЦ, к жизни и смерти которой мы когда-то имели какое-то отношение.

Завод «метиз», как он назывался в нашем полку, или метизный, как называли его сталинградцы, или завод тракторных деталей, как он называется сейчас, раскинулся у самого подножия Мамаева кургана. Завод, или, вернее, передовую, которая десять лет назад проходила по его территории, так как сам завод давно уже не существовал, изредка бомбили «юнкерсы», еще чаще артиллерия и почти без всякого перерыва минометы.

Днем связи с передовой не было — все подходы простреливались. Жизнь начиналась ночью.

Длинный, ох, какой длинный путь от берега до бульварчика, тянувшегося вдоль завода; недалеко от входа — подбитый трамвайчик, у колес которого мы всегда перекуривали, сам вход, разрушенный минами, срезанные снарядами мертвые тополя, а дальше цехи — разбитые, разваленные, сожженные. И над всем этим черное октябрьское небо, беззвучные вспышки ракет, щелчки немецких минометов и противные сухие разрывы.

Я попал на этот завод только через десять лет, в июне.

Впервые я вижу его днем. Я не буду говорить, узнал я его или не узнал — любой ответ прозвучит банально. Не буду говорить и о том, как искал и не нашел старые окопы, как пытался восстановить, где же проходила передовая, не буду говорить и о самом заводе — это особая тема, — я скажу только несколько слов о тополях.

Те самые, срезанные снарядами тополя у входа, мимо которых мы торопливо пробегали темными октябрьскими ночами сорок второго года, те самые, мертвые, как нам тогда казалось, они выросли и стали большими, красивыми,

настоящими тополями. И вырастил, спас их Рогов — старший садовник завода. Совсем обыкновенный на вид, невысокий, чуть сутулый, с черными от земли руками, это он превратил свой завод в сад — я не преувеличиваю, это действительно так, — это он вырастил в бедном зеленью Волгограда, на сухой его почве, эти деревья с такими пышными кронами, это он украсил заводские скверики маленькими вишневыми деревьями, которые тоже станут большими. Все это — дело его рук.

Он подводит нас к тополям, стройной шеренгой выстроившимся вдоль входа, наклоняется и, держа ладонь сантиметрах в двадцати от земли, говорит:

— Вот какими я их застал. Честное слово. А сейчас какие! В деревьях метра по три, а то и четыре. Надо было только первой веточки дожидаться, вот отсюда, почти из корня. А уж если появится, тогда как-нибудь вытянем.

И вытянул.

Сейчас высокие, стройные, чуть шелестящие на ветру тополя и цехи восстановленного завода, на стены которых молодые деревья бросают свою полупрозрачную тень, — может быть, все это и есть лучший памятник тем, кто лежит сейчас в земле Волгограда, кто отдал свои жизни в разрушенных цехах «метиза».

Жарко. Мы лежим на берегу и смотрим на воду. Ее очень много, она чуть рябится, и, если посмотреть на нее возле самого берега, видно, что она желтовата. Узкой полоской тянется противоположный берег. На нем какие-то домики. Правее белеют две башенки — шлюзы Карповского водохранилища.

Солнце подымается выше, становится еще жарче. Мы бросаемся в воду и долго плаваем. Потом, запыхавшиеся, вылезаем на берег и, растянувшись на траве, загораем.

Шагах в десяти от нас, неистово галдя и брызгаясь, купаются ребяташки.

Я гляжу на них — веселых, загорелых, блестящих от воды,— и мне до смерти хочется рассказать своим спутникам, как отступали мы в сорок втором году по этим самым местам, как было жарко, куда жарче, чем сейчас, как хотелось пить, и негде было напиться, как осточертели нам эти сухие степи, это выжженное, бесцветное небо, без умолку звенящие кузнечики... Но я ничего об этом не рассказываю, я знаю, что уже надоел всем своими воспоминаниями.

Я просто лежу и думаю. На «метизе», на тракторном я все-таки пытался что-то узнать. Здесь я даже не пытаюсь. Это бесполезно. Я знаю только одно — я здесь был. Может, именно здесь, где мы сейчас лежим, мы делали привал и бегали за тридевять земель испить воды да напоить лошадей. Потом проехали солдаты в машинах с прикрепленными к ним пушками и что-то весело нам кричали, а мы только мрачно молчали. Они ехали на фронт, в Калач — там шли бои,— а мы в Сталинград, в поисках своей армии.

Я смотрю на эту большую спокойную воду, на виднеющиеся на той стороне домики, и невольно начинает казаться, что все это так и было,— так органически вошел канал в жизнь, так естественно вписался в окружающий пейзаж. И может быть, именно в этой естественности, в этих обычных берегах и как-будто всегда стоявших на них домиках, может, именно в этом и заключается величие сооружения, соединившего две великие реки и оживившего своими водами растрескавшуюся почву сожженных солнцем и ветрами степей...

К нам подбежал голый, с прилипшими ко лбу белесыми волосенками парнишка и попросил закурить. Его следовало бы отчитать и не дать папиросы, но мы все-таки дали. От непрекращающегося купания он озяб, покрылся гуси-

ной кожей и никак не мог зажечь спичку трясущимися пальцами.

— Разве можно столько купаться, пацан? Ты б погрелся на солнце. Смотри — весь синий.

Он даже не улыбнулся.

— Солнце,— презрительно сказал он.— Знаешь, как оно нам надоело.

— А вода?

— Спрашиваешь...— и, сверкнув пятками, он стрелой помчался, неся за ушами еще две папиросы для своих друзей.

1953

Ч А О, Д Ж У Л Ь Я Н Ч И К

Мог ли я себе представить, что окажусь в этом самом ресторане со странным названием «Берсальера», что передо мной будет стоять тарелка настоящих итальянских спагетти, залитых томатным соусом, и стакан красного кьянти, а где-то по ту сторону залива на вечернем небе, четкий и ясный, будет вырисовываться силуэт вулкана, имя которому Везувий? Мог ли я это себе представить?..

— О! — говорил Джульянчик, неумело сворачивая в обрывок газеты рассыпавшуюся по коленям махорку.— Наполи — самый красивый город... Самый, самый... Самый веселый, самый шумный, самый цветной и... самый брудо, как это, грязный. Честное слово...

— Ну уж, Джульянчик,— перебивал я его,— так-то уж самый красивый. Не хвастайся.

— А я не хвастайся... Твой Киев тоже красивый город, я знаю, я был, но Наполи пью белла, еще красивее, честный слово. Море, море... Какое море! Приедешь — увидишь.

— Куда приедешь, Джульянчик? Побойся бога...

— Как куда? В гости. Кончится война, будем в гости ездить. Не веришь?

— Ну, ладно, приеду. А как тебя найти?

— Меня? — Тут он весело начинал смеяться, и черные, лукавые его глазки превращались в щелочки. — Каждый кошка, каждый собака в Наполи знает Джулиано Кроччи. Приедешь вокзал, спроси: «Где Джулиано Кроччи?» Иди ресторан «Берсальера». А я как закричу: «Синьор капитано, синьор капитано, покупай мои «фрутти ди маро!» — он опять смеялся и даже хлопал меня по спине. — И я скажу Марио: «Марио, посиди тут, мы с синьор капитано пойдем вино пить». И пойдем к Джузеппе: у него вино, о, какое вино! А ты смеешься и из кармана бутылку: «Не надо вино, будем русский водка пить!» А? Русский водка, прямо в стакан! Чин-чин! Чао! Привет!

Так говорил веселый, милый мой Джульянчик.

...И вот я сижу в этом самом ресторане «Берсальера» и ем спагетти, наматывая их по всем правилам на вилку, и пью терпкое кьянти, и курю сигареты «Национали», а Джульянчика со мной нет. Он обманул меня. У входа в ресторан сидело человек десять торговцев «фрутти ди маро» (плоды моря — всякие там диковинные рыбы, морские звезды), но никто из них никогда не слышал о Джулиано Кроччи. Смеются — столько лет прошло, разве найдешь, всех война разбросала...

А у меня в номере бутылка водки стоит, специально привез...

Познакомились мы с Джулиано в апреле 1944 года. Было это под Одессой — то ли в Эльзасе, то ли в Ландау, то ли в Мангейме — не помню. Все эти бывшие немецкие колонии похожи одна на другую как две капли воды.

широкая улица, дома под черепицей и в торце улицы обязательно островерхая кирха.

Немцы так быстро отступали, что мы никак не могли их догнать. Эльзасы и Мангеймы были пусты, ни души, всех угнали, только штабные документы, точно голуби, летали по улицам.

И вот в одном из таких Мангеймов нас встретил веселый улыбающийся парень.

— Макаронник, — скептически доложил старший сержант Петроченко, подводя парня ко мне. — Оружие отдал. Гитлер, говорит, и Муссолини — капут!

— Капут, капут! — парень блеснул глазами и провел смуглой ладонью по горлу. — Тедески... Немси топ-топ-топ Берлин. — Он прижал локти к бокам и затопал на одном месте, будто бежит. — Рус — гоп-гоп-гоп Берлин! — Он сделал движение коленом, как будто кого-то выпихивает под зад. — Гитлер капут! Муссолини капут! Вива паче! Мир!

Он взял под козырек и сделал совершенно серьезное лицо. Солдаты так и заржали.

— Ай да макаронник! А ну, еще!

Парень улыбнулся совершенно ослепительной обезоруживающей улыбкой и дружелюбно и весело оглядел окруживших его солдат. Рядом с ним стоял единственный у нас в батальоне Герой Советского Союза Сергей Мозжухин. Парень внимательно посмотрел на висевшую у него на груди звездочку, потом наклонился и, взяв пальцами, стал разглядывать орден.

— Ленин?

— Ленин, — скосив глаза, ответил Мозжухин и тут же спохватился: — А ты не лапай!

— Ленин — бона.

— «Бона» — это по-ихнему «хорошо», — сказал кто-то из сзади стоящих.

— Карашо, карашо,— заулыбался парень.— И мир карашо. И папиросо тоже карашо.

Три или четыре руки протянулись с кисетами.

— Кури, черт с тобой!

Парень протянул согнутую ладонь, сказал спасибо, как-то очень странно произнося букву «о» вроде «у», и улынулся.

Какая у него была улыбка! Я еще никогда не видал такой улыбки. Да, по правде сказать, и такого красивого парня, пожалуй, тоже не видал. Он был поразительно живописен. Есть люди, на которых что ни надень — все на них хорошо. Этот парень был именно таким. На нем была какая-то истрепанная, грязная куртка, рваные штаны и претенциозная, нелепая для современного глаза шляпа с петушиными перьями — и все-таки это было красиво! Он был строен, легок, изящен в движениях, черноволос, буйно кудряв, а зубов, по-моему, у него было даже больше, чем положено. Одним словом, у него на родине девушки, вероятно, сходили по нему с ума.

Итальянцев из нас вообще никто никогда в глаза не видел. Было чем развлечься. Его уже кормили. Он с аппетитом уничтожал кашу с консервным мясом и заедал громадным, размером с котелок, ломтем хлеба.

Потом его уложили спать на солому вместе с первой ротой — Петроченко считал его своим, — а я послал донесение в штадив, что нам сдался в плен рядовой 113-го полка дивизии «Литторио», итальянец Джулиано-Сальваторе Кроччи, и тоже лег спать.

В штадиве не заинтересовались им. Даже переводчика не прислали. Должно быть, не верили, что итальянец может что-нибудь интересное рассказать. Притом же дивизия и без показаний пленных быстро продвигалась вперед. А вернее всего, пленным не заинтересовались потому, что наш дивизионный переводчик не только итальян-

янского, но, по-моему, и немецкого языка толком не знал. Так или иначе, но Джулиано остался при батальоне.

А немцы продолжали бежать. Мы за ними. Целый день идешь, от села к селу, от кирхи к кирхе, через кукурузу, через какие-то речки, лиманы. И Джулиано с нами. Он месил своими тонкими сапожками на картонной подошве густую липкую грязь и не унывал. На привалах вытаскивал губную гармошку и играет на ней что-то не то веселое, не то заунывное, на этом инструменте и не поймешь. Или обматывает проволокой свои сапоги. Я хотел ему выдать новые, но, как всегда бывает на марше, мы сильно вырвались вперед и не имели ни малейшего представления о том, где находятся наши тылы. Так и пришлось ему в своих «эрзацах» шлепать. Зато со своим головным убором он расстался без всяких душевных переживаний — просто взял и выкинул и даже не обернулся. Дали ему старую пилотку, и, когда он ее надел, всем нам показалось, что он так всю жизнь в ней и ходил.

На недолгих наших стоянках он помогал повару Кондрату Кривому, человеку, которому очень трудно было угодить. Но Джулиано угодил. Все, что он ни делал, он делал быстро, весело и очень забавно. Воду носил не только в руках, но и на голове — прямая выгода: вместо двух ведер сразу три; когда рубил дрова, через каждые три удара подбрасывал топор, тот кувыркался в воздухе, падал на полено и раскалывал его, — тут особой выгоды не было, но зато было забавно. Кроме того, он умел ходить на руках и колесом, изображать ругающуюся торговку, кричащего младенца, мяукать по-кошачьи, лаять, хрюкать. Особенно нравился солдатам номер с поросенком. Он изображал пассажира, едущего в поезде с поросенком в мешке. Пассажир боялся контроля, заискивал перед соседями, баюкал своего поросенка, а тот в самый неподходящий

момент начинал визжать. Солдаты буквально покатывались от хохота.

Но больше всего покорила Джулиано солдат своими песнями. Пел он легко, свободно, без всякого напряжения, как будто петь для него легче даже, чем говорить. Песни и мелодии у него были чужие, незнакомые, так же, как и язык, — но это была музыка, песня, притом песня народная, — и этого было достаточно.

Кстати, сам Джулиано был совершенно потрясен пением наших солдат. Оказывается, — я этого никогда не знал, — в Италии, где поет каждый сапожник, каждый рыбак, совершенно не знают, что такое хоровое пение; церковь и опера не в счет. Джулиано никак не мог понять, как это можно петь всем вместе, да еще так, что каждый поет свое, а получается стройно. Потом он к этому привык и стал даже батальонным запевалой.

Дней через пять мы натолкнулись на немцев. Произошло это уже под самой Одессой. Шли себе, как всегда, по кукурузному полю, когда нас догнал офицер связи и передал мне приказание командира дивизии. Левее нас, километрах в восьми — лиман. Наши передовые части его форсировали, но встретили сопротивление немцев и закрепились на том берегу. Мне было приказано в течение ночи сделать в таком-то районе три пешеходных мостика.

Пешеходный мостик — дело несложное, но людей было маловато, а кончить мостик надо было никак не позже четырех утра: солнце вставало около шести, а до того, как немцы заметят наши мостики, надо было пропустить всю пехоту.

Как мы ни старались, раньше пяти закончить не удалось, хотя работали все без исключения — на хозяйстве остался один повар. Работал и Джулиано. Еще с вечера

он подошел ко мне и, помахав воображаемым топором, ткнул себя в грудь коричневым пальцем.

— Сапор, сапор, синьоро капитано,— и вопросительно посмотрел на меня.

Я разрешил ему идти со всеми, и он побежал к Кондрату за топором, припрыгивая и распевая на ходу какую-то стремительную тарантеллу.

В начале пятого стали стягиваться полки, а в пять, когда по мосткам пошли первые пехотинцы, в берег ударила первая мина.

Этого следовало ожидать. Немцы расположились на небольших высотах противоположного берега, и вся наша переправа была у них как на ладони. Все теперь зависело от меткости их огня. Вслед за первой ударила вторая, третья мина. Солдаты, прибавив шагу, почти бегом переправлялись по мостикам.

Немцы стреляли плохо, большая часть мин попадала в воду, но штук пять или шесть попало на берег, и там были уже раненые, то тут, то там мелькали носилки, а у входа на мостики начали образовываться пробки. В воздухе появился немецкий разведчик. Это еще больше усложнило обстановку. Пробки увеличились.

В самый разгар переправы, когда половина полков была уже на той стороне, три мины угодили одна за другой почти в самую середину левого мостика. Человек десять солдат попадали в воду, а сам мостик, разбитый надвое, скрипя и охая, стал расходиться по течению: пешеходные мостики держатся прямо на воде, без всяких подпорок и свай. Шедшие по нему солдаты бросились на берег.

Я искал глазами Петроченко — это был его мостик, — но в это время кто-то пробежал мимо меня, растолкал солдат, взбежал на мостик, добежал до края, перескочил на противоположный, начавший уже отплывать по течению

конец и бултыхнулся в воду. Все это произошло в две-три секунды. В следующее мгновение Петроченко с двумя саперами был уже на мосту.

Я не стану описывать всей операции по восстановлению моста. Скажу только, что бойцы вплавь подтянули оба конца моста и держали его в таком положении, пока он не был укреплен саперами. Все это время немцы не прекращали обстрела, но повредить мостики им больше не удалось. Все три полка переправились с относительно малыми потерями.

Среди бойцов, подтянувших и державших мостик, был и Джулиано. Это он тогда пролетел мимо меня и первый бросился в воду.

Все утро он принимал поздравления. Лопаясь от счастья и гордости, он пожимал всем руки и, сияя до ушей своим белозубым ртом, повторял первую выученную им русскую фразу:

— Служу Советскому Союзу!

Бойцы хлопали его по плечу так, что оно у него должно было вспухнуть, и говорили:

— Молодчина, Данька, так и надо. Искупай свою вину: небось по нашим-то пук-пук, стрелял, значит...

Первое время Джулиано очень обижался, когда ему это говорили. Глаза его загорались, он начинал жестиковать, изображал то копку земли, то еще какие-то действия, не имеющие отношения к стрельбе, одним словом, пытался доказать, что стрелком он не был. Потом он понял, что его дразнят. Сейчас же, упоенный своей славой, он просто не обращал внимания на эти поддразнивания.

А славу своим поступком он завоевал. Я не могу сказать, чтобы до этого к нему относились плохо,— наоборот,

относились хорошо, очень даже хорошо, но все-таки считали немного чудачком и слегка жалели: пригнали вот вас, с вашими петушиными перьями, а Гитлер даже кормить по-настоящему не кормит. «Несерьезный они какой-то народ,— сказал как-то наш батальонный философ фельдшер Нятко, когда Джулиано принес на голове ведро воды,— социализма с ними не построишь». А парень вон оказался какой! Первый в воду бросился и под огнем! Этого никто не ждал.

Кто-то из бойцов спросил его даже:

— А чего ты, Данька, в воду первый бросился? Тебе же не обязательно.

Джулиано ничего не понял, но весело заулыбался:

— Первый, первый. Прима.

Вечером ко мне пришел Петроченко.

— Дайте мне его в роту, товарищ капитан.

— Кого?

— Да Даньку.

— Он же русского языка не знает.

— Выучу.

— На двухнедельных курсах, что ли?

— А вы не смейтесь, товарищ капитан. Способный, как дьявол. В месяц выучу...

Я махнул рукой.

— Ладно, пускай. А я с начштаба поговорю.

Но с начштаба поговорить так и не удалось: опять двинулись в путь. Это были уже последние километры на пути к Одессе.

Мы ворвались в город со стороны Дальника. Это было 11 апреля 1944 года. Немцев в городке уже не было. Они откатывались на юго-запад, к Каролино-Бугазу, к Царьградскому устью Днестра.

Перед нами было море. Черное море... Мы выкупались в нем, не взирая на апрель и холод,— всем батальоном

выкупались. Это было нечто вроде ритуала. Пришли в Одессу и выкупались в Черном море — вот, мол, какие!

Бойцы быстро скидывали с себя пыльное, пропотевшее обмундирование и, по-зимнему еще беленькие, с разгона, неистово галдя и брызгаясь, точно дети, врезались в море и сразу же, размахивая руками, выскакивали на берег. Вода была как лед, не то что проплыть, стоять в ней было немислимо.

Джулиано, конечно, тоже принимал участие в ритуале. Из воды он выскочил дрожащий и, прыгая на одной ноге, стал натягивать на себя свои жалкие панталоны и невероятной грязи куртку.

Я сказал Петроченко:

— Ты хоть одел бы его по-человечески, командир роты. А то неловко просто.

— Не беспокойтесь, товарищ капитан,— загадочно улыбнулся Петроченко.— Все учтено. Вещевого склада ждать — до конца войны не дождемся.

В тот же вечер Петроченко пришел ко мне и доложил:

— Привел к вам бойца Кудрявцева.

— Какого еще Кудрявцева?

— А вы разве не знаете?

— Первый раз слышу.

— Он там, за дверью, стоит. Позвать?

— А что он сделал?

— А вы его сами спросите.— Петроченко еле заметно улыбнулся.— Так что, позвать?

— Ну, позови.

— Кудрявцев! — гаркнул Петроченко.— Заходи.

Дверь отворилась, и в комнату строевым шагом вошел Джулиано. Вошел, козырнул — уже не по-своему, как он это обычно делал, ладонью вперед, а по-нашему — и вытянул руки по швам.

— Бо-ец-Куд-ряв-цев-при-бил-по-ва-ше-му-при-ка-за-ние,— на одном дыхании, без каких-либо перерывов между словами выпалил он и уставился на меня своими черными, сейчас абсолютно серьезными глазами.

Одет он был с иголки. На нем была новенькая офицерская гимнастерка с карманами, синие галифе, кирзовые сапоги, сияющий, с начищенной звездой ремень, и только не хватало погон да звездочки на пилотке.

— Ну как, хорош? — самодовольно улыбнулся Петроченко.— Боец что надо, Кудрявцев Даниил Сильвестрович.

— Кудрявцев — это за шевелюру?

— Ага! Даниил — ну это просто потому, что все Данькой зовут, а Сильвестрович... Есть у него еще какое-то там имя. Как тебя дальше звать?

— Джулиано-Сальваторе.

— Вот, Сальваторе — Сильвестр. Одно и то же. Одобряете, товарищ капитан?

Я посмотрел на Джулиано. Он стоял по-прежнему руки по швам и с тревогой и любопытством смотрел то на меня, то на Петроченко.

— Ну, Джулиано,— сказал я ему,— хочешь с нами? Против немца? Контра тадеска? Контра Гитлер? Контра Муссолини? За социализм? Хочешь?

— Хочешь! Хочешь! — не выдержав, крикнул он и тут же, испугавшись своего крика, замолчал.

— Достань-ка ему погоны и звездочку,— сказал я Петроченко, но он только улыбнулся.

— У меня уже все заготовлено.

Когда я вручил Джулиано звездочку, я заметил, что у него дрожат губы. Потом он неожиданно перегнулся через стол, порывисто обнял Петроченко и крепко поцеловал его не то в щеку, не то в шею. Тот даже растерялся: «А ну тебя, Данька, всю морду обмусолил!» Но был явно тронут.

В этот же вечер к двум наградным материалам, которые мы собирались посылать в штадив за операцию с мостиком, я прибавил еще и третий: на красноармейца Кудрявцева Данила Сильвестровича.

А война тем временем шла, не очень активно на нашем участке, но шла. От Одессы мы дошли до днестровского устья, пытались с ходу его форсировать, но неудачно, строили какие-то пристани для десантов, но потом это отменили и нас перебросили в село Роксоляны. Здесь мы простояли с недельку, ожидая дальнейших распоряжений. Поселились в маленьких чистеньких домиках и посматривали на противоположный берег, на белый Аккерман, где сидели еще немцы, лениво перебрасывая через реку редкие снаряды.

Пользуясь затишьем, мы наводили порядок в своем хозяйстве: банились, латали обмундирование, чинили инструмент. Взялись вплотную и за Джулиано. У него появились учителя. Первой предложила свои услуги наша писарша Леля, но по тому, как она в присутствии Джулиано вся вдруг заливалась краской, я сразу понял, что она без памяти в него влюблена, что из этих занятий вряд ли что путное получится, и кандидатуру ее отверг. Взял шефство над ним замполит Антонов, но времени у него всегда не хватало, и он довольствовался тем, что обеспечил, можно сказать, идейное руководство. Занимался иногда Петроченко, но настоящим учителем, впоследствии ставшим и первым другом, был Вася Веточкин — батальонный комсорг. Где-то он достал русско-итальянский словарь, и в свободное время в сторонке они что-то писали, переписывали, листали словарь, о чем-то даже спорили.

Очень забавно было следить за ними, когда они сидели вместе. Веточкин был полной противоположностью Джу-

лиано. Джулиано черен, смугл, кудряв, порывист и весел. Вася Веточкин — блондин, чуть ли не альбинос, с льяными бровями и ресницами, нежно-голубыми глазами и молочным цветом лица, переходившим на щеках и подбородке в прозрачно-розовый румянец. Он приходился Джулиано по уху, но был шире его в плечах, и вообще с ним не рекомендовалось вступать в единоборство. По характеру своему это был тихий мечтатель и при первом знакомстве производил впечатление человека, довольно туго соображающего. Но это было не так. У него был ясный, четкий ум и редкая нелюбовь к фразам. За это и за смелость бойцы его, очевидно, и полюбили.

И вот эти две противоположности сдружились, «скорешковались», как говорили у нас тогда. Началось с занятий, а потом и все пошло вместе: и сон, и еда, и табак.

Так шли дни, в общем тихо и спокойно, если бы не случай, происшедший в Овидиополе, куда нас перебросили из Роксолян, случай, из-за которого чуть-чуть не пришлось нам расстаться с Джулиано.

Вообще я должен сказать, что на Джулиано жаловаться не приходилось. Не было той вещи, которой он бы не мог сделать. Сколотить табуретку, исправить часы, сложить печь, почистить лошадей, сварить обед, починить сапоги, взобраться на телеграфный столб, исправить аккумулятор — что угодно. Причем все это весело и легко, так что, глядя на него, хотелось самому заняться именно этим делом, таким оно казалось увлекательным. Но вот когда оказалось много свободного времени — дело было хуже. Его энергия и инициатива направлялись в другую сторону.

Горе в том, что он был не только красив — это было б еще полбеды, — он был к тому же влюбчив. Вот и получилось так, что где Джулиано, там и девицы.

Что точно произошло между ним и Костопаловым, сержантом второй роты, мне так и не удалось установить. Из

желания спасти Даньку все, в том числе и сам Костопапов, так запутали дело, что получилось в конце концов, будто он и совсем здесь не замешан.

Дело же было в следующем. Оба они — и Джулиано, и Костопапов — как выяснилось, ухаживали за одной и той же девушкой. Костопапов был первым избранником, но парень он был неказистый, да к тому же рябой, и когда появился Джулиано, девица, насколько я понял, потеряла к нему всякий интерес. Она-то потеряла, а он нет. Солдат он был неплохой, но с норовом, и взгляд у него был какой-то тяжелый — точно чувствуя это, он никогда не смотрел на собеседника, всегда куда-то вбок или в землю.

За день до этого случая и в самый его день, говорят, он был как-то особенно мрачен и почти ни с кем не разговаривал. Вот и все, что удалось установить. Все остальное — догадки.

Около часу ночи меня разбудил дежурный.

— Вставайте, товарищ капитан! ЧП! С Костопаповым несчастье.

Через минуту я был в штабе. Костопапов лежал на столе полураздетый с крохотной аккуратной ранкой в боку. Вокруг него суетился наш фельдшер.

Петроченко был уже здесь. Почти сразу же вслед за мной пришел и Антонов. Толком объяснить никто ничего не мог. Дежурный, младший лейтенант Сержников, только руками разводил.

— Сидел себе, газету читал, вдруг двери настезь, и вваливается Данька. И на плечах Костопапова несет, руки только болтаются. Как, что? Молчит.

Джулиано сидел в углу страшно бледный и изредка только поблескивал оттуда глазами. Я велел запереть его в чулан, а Костопапова отправить в санбат.

Положение было сложное. За такие поступки полагался трибунал. Предстояло долгое и кропотливое рассле-

дование, бесконечные расспросы, свидетели, а результат один: за убийство военнослужащего или за покушение на убийство — расстрел.

Утром я пошел к Джулиано. При моем появлении он встал. Он был страшно бледен.

— Зачем ты это сделал? — спросил я его.

Он уже довольно свободно понимал русский язык и с грехом пополам мог даже отвечать. Но сейчас он молчал. Смотрел в землю и молчал.

— Зачем ты это сделал, Джулиано? — опять спросил я.

— Я убил его? — не подымая головы, глухо спросил он.

— Нет, не убил. Костопалов останется жить. Но зачем ты это сделал?

Несколько минут он молчал, ковыряя носком сапога землю, потом поднял голову. По щекам его бежали одна за другой громадные прозрачные слезы, такие бывают только у детей.

— Я не могла иначе, синьор капитано... я знал... пусть меня убьют... я виновата... пусть убьют... я не могла иначе...

Больше он ничего не мог сказать. Он не рыдал, не всхлипывал, он повторял только «я не могла иначе... пусть меня убьют»... и из глаз его катились слезы, он их не вытирал, и они капали на гимнастерку, на землю...

Дело дальше нашего батальона не пошло. Костопалов через несколько дней вернулся из медсанбата и на все вопросы, которые ставили ему и я, и Антонов, и Петроченко, отвечал одно: «Кудрявцев здесь ни при чем. Я хотел сделать дырку в ремне, нож соскочил и попал в мясо. Вот и все. А Данька тут ни при чем».

Допрошенная девица, пока Костопалов был в санбате, от всего открещивалась, потом же, когда он вернулся, стала повторять его версию с ремнем и дыркой. Солдаты же все

в один голос утверждали, что Костопапов действительно в этот самый день говорил, что он, мол, чего-то стал худеть и надо вот новую дырку сделать. Получалось так, что он чуть ли не каждому бойцу в батальоне об этом сообщил.

Так или иначе, оттого ли, что вралы солдаты или судьи были слишком снисходительны, а вернее всего уж больно все полюбили Даньку Кудрявцева, но окончилось все тем, что случаю с ремнем и дыркой поверили. Джулиано отсидел что-то дней десять в своем карцере, а потом мы двинулись дальше, и потрясшее нас всех ЧП, как и все на свете, уплыло в прошлое. Никто не пожалел об этом.

Сейчас, когда я вспоминаю его,— а с тех пор прошло уже восемнадцать лет,— он рисуется мне таким, каким я его помню в последние дни: подтянутым, всегда веселым, в начищенных до сумасшедшего блеска хромовых сапожках (он носил с собой бархатку и поминутно вынимал и чистил ею сапоги) и лихо сдвинутой набекрень суконной пилотке.

Мы провоявали с Данькой вместе немногим больше трех месяцев. К концу своего пребывания в нашем батальоне он уже почти свободно говорил по-русски. Я любил с ним разговаривать. Он тоже был не прочь.

Биография его была совсем проста. Родился он в 1924 году в Неаполе. Отец — сицилиец, рыбак, мать — неаполитанка. Пока его не взяли в армию, он с отцом рыбачил. Мать и сестра торговали рыбой и всякими «фрутти ди маро» на набережной. Потом он женился. О, он очень рано женился, ему еще не было восемнадцати лет...

Тут вынимался пакетик фотографий и начиналась демонстрация Чезарины — его жены, отца, матери, сестры и шестимесячного черноглазого младенца, обладателя такого звучного и длинного составного имени, что, выслушав его, вспоминалась вся история Италии.

— Хороший мальчик? А? Бамбино что надо! — Он весело смеялся, радуясь этому своему чисто русскому, как он

считал, выражению.— Все говорят, что на меня похож. А? Вот посмотрите, я сейчас поверну голову. Похож? А Чезарина? Вы бы видали ее волосы. На фотографии не видно. Какие волосы, святая мадонна! Она б вам очень понравилась, клянусь небом!

Он мог часами говорить о своей Чезарине и о ребенке. Он их любил со всей страстью и нежностью и был очень удивлен, когда кто-то ему сказал, что для любящего мужа он слишком часто подмигивает посторонним девушкам. Самым искренним образом он был удивлен. Одно другому совершенно не мешает! Он любит свою жену, любит своего ребенка — и это действительно было так, — но почему он не может погулять с красивой девушкой? Он этого не понимает.

Он вообще многого не понимал. В нем мирно уживались яркая, брызжущая, всесторонняя талантливость с какой-то поразительной, удивляющей некультурностью. Когда я говорю талантливость, я подразумеваю не какие-то определенные способности в какой-то определенной области, — как бывает талантливый художник или певец, — я говорю о другом таланте, о таланте жить. Есть и такой, и именно им обладал Джулиано. Для него, как и для всякого другого, жизнь была цепью событий и людей, с которыми приходится сталкиваться. Но если для некоторых эти события и люди являются чем-то идущим рядом, с чем встречаешься, так сказать, помимо твоей воли, то для Джулиано и то и другое было воздухом, без которого он не мог жить. Он был поразительно равнодушным человеком. Его буквально все интересовало: и устройство немецкого взрывателя, и местность, по которой мы идем, и хозяин, у которого мы остановились (чем он занимается и с чего живет), и конечная цель задания, которое мы должны выполнить, и правда ли, что Муссолини был когда-то простым рабочим, почему же он такой сволочью стал? Во всем ему хотелось

разобраться и во всем по возможности принимать участие. Я не помню почти ни одного ответственного задания, на которое не просился бы Джулиано, и я со спокойной совестью послал бы его на любое, но тут железной стеной встал замполит Антонов. Он был человек дотошный, знал все законы ведения войны, а по ним, утвержденным на какой-то там Гаагской конференции, использовать военнопленных в качестве военной силы не разрешалось. Что поделаешь, так и не дали мы ему в руки винтовку.

— Нечего тебе, Данька,— смеялся Антонов,— ты человек религиозный, веришь в бога, в Иисуса Христа, а он людей не велит убивать. Так или не так?

Тут Джулиано смущался. Религия — единственное, в чем мы не могли его переубедить. Я знал, что в подавляющем большинстве своем итальянцы очень религиозны, но никогда не думал, что до такой степени, что вера в силу религиозных обрядов и суеверие так тесно переплелись между собой. Джулиано, например, довольно безразлично относился к бомбежкам и прочим ужасам войны, но до смерти боялся грома и молнии.

Я помню одну грозу. Это была роскошная майская гроза, с бурными потоками воды, с наступившей сразу темнотой, не прекращающимся ни на секунду грохотом и ветвистыми, вполнеба молниями. Это была первая весенняя гроза, и все ей радовались и долго, как дети, бегали потом босиком по лужам. Джулиано всю грозу пролежал, свернувшись комком и обхватив голову руками, а когда гроза прошла, бледный и испуганный, вздрагивал от каждого доносившегося уже издали удара и целовал висевший у него на шее на серебряной цепочке образок.

Он боялся понедельников и пятниц, чисел «семь» и «тринадцать», кошек, попов, но более всего «джетаторэ». «Джетаторэ» — это человек с недобрый глазом. Сам по себе этот человек может быть и неплохим, но все связан-

ное с ним приносит несчастье, поэтому его надо остерегаться. Таким «джетаторэ» у нас в батальоне, по мнению Джулиано, был Руднев — тихий, скромный и очень добрый боец первой роты. Руднев очень любил животных, в деревнях всегда был окружен кошками и собаками, которых кормил, подбирал каких-то птенцов, разговаривал о чем-то с лошадьми, а как-то во время марша чуть ли не целую неделю нес на руках новорожденного козленка, пока тот не издох без молока. И вот этого-то тихого и ласкового Руднева Джулиано боялся как огня, считая его «джетаторэ». Не спал с ним под одной крышей, не ел из одного котелка, не курил его махорки и не давал ему своей, и уж, конечно, никогда не пошел бы с ним на одно задание.

Не зная еще об этом, я назначил их обоих как-то в одну группу по заготовке леса. Джулиано пришел ко мне взволнованный и сказал:

— Я не могу с ним идти, синьор капитано.

— Почему?

— Он «джетаторэ».

Я спросил, что это значит. Он объяснил.

— Но почему ты решил, что именно он?

— Это я не могу объяснить. Это нельзя объяснить. Но он «джетаторэ», я это знаю. Я не могу с ним идти. Я не вернусь. Я это знаю.

Он был бледен, как всегда, когда волновался, и я понял, что посылать его нельзя. Я отправил его с другой группой.

Вот таким был Джулиано-Сальваторе Кроччи, неаполитанский рыбак, бывший рядовой 113-го пехотного полка дивизии «Литторио», позднее боец 2-й роты Н-ского саперного батальона Даниил Сильвестрович Кудрявцев, а в просторечии просто Данька.

Но настал день, которого никто не ждал. Яркий,

солнечный, июньский день. Мы стояли в Лушуве, под Люблином. В этот день было много писем. Бойцы, растянувшись под яблонями помещичьего сада, строчили ответы. Я писем не получил. Получил только пакет из штадива.

Из конверта выпала аккуратно сложенная бумажка. Бумажка четкими фиолетовыми буквами предлагала мне «немедленно доставить в штадив военнопленного итальянца рядового Д.-С. Кроччи, о сдаче в плен которого сообщалось в В. донесении от такого-то апреля с. г. ПНШ Сенявин».

Через три месяца... Опомнился Сенявин!

Второй раз в жизни я видел нашего Даньку плачущим. Он стоял, руки по швам, пилотка набекрень, в вычищенных до блеска хромовых своих сапожках и повторял только одно:

— Зачем? Что я сделал? Зачем? Я Кудрявцев, я не пленный, я боец Кудрявцев... Зачем так?

Рядом стояли бойцы. Совсем как тогда, под Одессой, но никто теперь не смеялся. На Васю Веточкина больно было смотреть... Когда же Данька подошел ко мне и протянул свои погоны — аккуратные, с вделанным внутрь целлулоидом погоны — и звездочку с пилотки, я почувствовал, что в горле у меня что-то заскребло...

Прошел год с небольшим. Война кончилась. Я ехал из Праги в Киев. В Катовице мы долго стояли: что-то случилось с паровозом. Станция забита была эшелонами. Я слонялся по путям, боясь выйти в город и отстать от поезда. И вдруг откуда-то:

— Синьор капитано! Синьор капитано!

Я вздрогнул и обернулся. Мимо, постепенно убыстряя ход, шел эшелон. Среди черных голов в раскрытых

дверях теплушек я увидел Даньку небритого, обросшего, неистово машущего рукой.

— Синьор капитано! Домой, домой, Наполи...

Он что-то еще кричал, приглашая, вероятно, в гости, и я, кажется, тоже кричал, но мимо мелькали уже другие вагоны, другие лица... Последний вагон, часовой с винтовкой... Все...

* *
*

Играет джаз. Официант приносит еще одну бутылку вина — пузатую, оплетенную соломой. Разливает.

— Чин-чин,— говорят мои спутники.

— Чин-чин,— говорю я и пью за здоровье Джулиано, за своего бойца, которому я привез из далекой России бутылку водки. Она сейчас в гостинице на окне. Пусть стоит, черт с ней. Мы с тобой еще разопьем, Джульянчик, не эту, так другую. Мы еще встретимся. Я верю в это. И ты тоже. Правда? Чао, Джульянчик!

„САНТА-МАРИЯ“
или
ПОЧЕМУ Я ВОЗНЕНАВИДЕЛ
ИГРУ В МЯЧ

С балкона моей комнаты видно море. По нему с утра до вечера ходят теплоходы. Маленькие — раньше они назывались катерами, а теперь тоже теплоходами — в Алупку, Симеиз, Форос. Большие подальше — в Одессу, Батуми. Все они белые, а большие — с красными полосами на трубах.

Я их умею уже отличать по очертаниям. Самая красивая и важная — это «Россия», самый большой — «Адмирал Нахимов»: у него две трубы и он не теплоход, а пароход. Остальные — «Петр Великий», «Крым», «Абхазия», «Литва», «Латвия» — те поменьше, но тоже красивые. По вечерам, обгоняя друг друга, носятся по морю красненькие прогулочные катера на подводных крыльях. Среди них один большой — «Стрела»: он развивает скорость до восьмидесяти километров в час и оставляет за собой невероятной длины белый хвост.

Раз в неделю привозит иностранцев немецкий лайнер с желтой трубой и длинным названием «Фольксфройндшафт», иногда появляется грек «Агамемнон», иногда румын.

Всех их я знаю, я к ним привык, полюбил. Но сегодня появилась «Альфа», и я не могу уже смотреть ни на важную «Россию», ни на стремительную «Стрелу». У «Альфы» три мачты и сероватые паруса. И идет она гордо, спокойно, величаво. От нее нельзя оторвать глаз. Она такая изящная, стройная. И глядя на нее, хотя она только учебное судно, хочется быть флибустьером, отчаянно-смелым и лихим, хочется, сидя на баке, пить ямайский ром, бегать по реям, кричать с марса: «Земля!», открывать Америку, быть Колумбом...

Я знаю: все это от детства, от прочитанных когда-то книг. А вот нынешние десятилетние мальчишки? Дрожит ли у них что-то внутри, когда они видят живой парусник? Или все дети теперь мечтают быть не флибустьерами, а космонавтами? Неужели это так?

Я привез из Америки одному мальчику подарок. Когда я увидел его, этот будущий подарок, на полке детского отдела большого нью-йоркского магазина, я сразу понял: оставшиеся деньги потрачены будут не на авторучки, не на клетчатые «безразмерные» носки, не на кальвадос «Триумфальная арка», а именно на нее — колумбовскую «Санта-Марию».

Рядом с «Санта-Марией» стояли: слева — «Куин-Мэри», справа — знаменитый авианосец, название которого я забыл. Но на них не хотелось даже смотреть. Я заплатил один доллар семьдесят пять центов и получил коробку удивительной красоты — на пестрой глянцевой крышке, надув паруса с алыми крестами, неслась по пенистым волнам океана прекрасная «Санта-Мария».

Когда через несколько дней я вручил эту коробку мальчику, которому она была предназначена, и когда он, открыв ее, увидел лежащую внутри в разобранном виде «Санта-Марию», он, мальчик, на какое-то время лишился дара речи, потом были крики, объятия, восторги, желание

немедленно, тут же, сейчас же начать сборку легендарной каравеллы. Но родители сказали, что каравелла подождет и до завтра, а сейчас пора ужинать и спать.

На следующий день утром была школа, потом пионерское собрание, а вечером надо было готовить уроки. Сборку и на этот раз отложили.

Назавтра мальчик опять ушел в школу, погладив на бегу коробку, а мы с его отцом, хозяином квартиры, в которой я всегда останавливаюсь, когда приезжаю в Москву, допив чай, закурили.

Кончив курить, отец мальчика сказал:

— А что, если мы сами начнем склейку? Сынок мой — товарищ неаккуратный, того и гляди чего-нибудь сломает, а мы с тобой...

— Что ж, можно... — сказал я.

Мы выключили телефон и пошли за коробкой.

«Санта-Мария» была пластмассовая и состояла из отдельных кусков: отдельно палуба, отдельно борта, бак, ют, фок-, грот- и бизань-мачты, отдельно все реи, бушприт, надутые уже ветром паруса, флаги и вымпелы, отдельно и моряки, среди них, очевидно, и Колумб. Все перенумеровано. Ко всему приложен был чертеж и тюбик клея.

Мы сели за работу. Визит в издательство был отложен. Телефон, слава богу, молчал. Когда пришел мальчик, которому подарена была «Санта-Мария», ему было сказано: «Не мешай, иди готовь уроки», в этот момент приклеивался кливвер, а это дело нелегкое.

Вечером должны были прийти гости, но им позвонили, что-то наврали, и работа продолжалась. Иногда к нам в комнату заглядывал хозяин «Санта-Марии» и просил, чтобы ему разрешили приклеить к мачте вымпел, но отец пристыдил его, напомнив, как плохо он наклеил неделю тому назад в ботанический альбом паслен, и хозяин кара-

веллы вынужден был уходить, а вымпел мы приклеивали сами.

Но гости все же пришли. Не те, а другие, совсем неожиданные. Мы с отцом хозяина «Санта-Марии» возненавидели их на всю жизнь. Они сидели до часу ночи, говорили о всякой всячине — о литературе, какой-то выставке в Манеже, театре «Современник», о своей поездке в Армению, а мы мрачно курили, иногда переговариваясь между собой, куда надо приклеить деталь № 57, которой на чертеже почему-то нет.

В этот день мы легли... В общем неважно, когда мы легли, — утром «Санта-Мария» гордо стояла на своей подставке на самом видном месте, и свежий атлантический ветер упруго надувал ее паруса с большими алыми мальтийскими крестами. Марсовый бушприта смотрел в подозрительную трубу. «Санта-Мария» неслась на запад в поисках Индии...

Хозяин «Санта-Марии» был в восторге. Друзья его тоже. И друзья отца тоже. И дети друзей отца тоже. Все щупали паруса, ванты, приклеенных к палубе моряков, а мы с отцом говорили: «Осторожно, не трогайте пальцами, может быть, клей еще не совсем засох», — и все были довольны и сетовали на нашу игрушечную промышленность, которая почему-то не делает такие милые игрушки — ведь можно было сделать «Три святителя» или какой-нибудь другой знаменитый корабль.

Место для «Санта-Марии» было выбрано на невысоком книжном шкафу. Время от времени мы к ней подходили и что-нибудь на ней подправляли или слегка поворачивали, чтобы она красивее выглядела с того или иного места. Несколько дней шел спор, в какую сторону должны развеваться вымпелы — вперед или назад. Одни говорили назад, другие — вперед, доказывая, что ветер дует сзади по ходу

корабля, а не спереди. Но договориться так и не удалось.

С появлением «Санта-Марии» комната сразу стала красивее. Порой казалось, что в ней пахнет водорослями, рыбой, соленым морским ветром. Сам хозяин каравеллы, парень ехидный и с юмором, сказал как-то, что скорее всего пахнет джином или ромом. В наказание он был отправлен, как всегда в таких случаях, учить уроки.

В воскресенье к мальчику в гости пришел другой мальчик. Родители ушли по делам, и старшим в квартире остался я. Дети начали играть в мяч, а я ушел в соседнюю комнату то ли писать, то ли читать, то ли спать. Уходя, я сказал:

— Смотрите, играйте в мяч осторожно, не попадите в каравеллу.

Дети обещали не попасть в каравеллу и начали осторожно играть в мяч.

Минут через пять что-то с грохотом упало — и воцарилась могильная тишина. У меня внутри все оборвалось. Я выскочил в соседнюю комнату. «Санта-Мария» лежала на полу с поломанными мачтами. На мальчиках не было лица.

Я страшно рассердился, накричал на мальчиков и даже дал им несколько подзатыльников, чего со мной до сих пор никогда не случалось. Мальчики обиделись: «Ведь мы ж не нарочно», а я подобрал каравеллу и унес ее в другую комнату.

На починку ушло не меньше часа. Грот-мачта сломалась пополам, и срastить ее было не так-то просто. Две другие мачты, к счастью, только погнулись, но порвались и попутались ванты — с ними тоже пришлось повозиться.

В конце концов я все-таки восстановил каравеллу. Сейчас она по-прежнему стоит на своем месте, и попутный ветер по-прежнему никогда не изменяет ей. Обидно

другое: буквально через три минуты после катастрофы мальчики как ни в чем не бывало опять начали свою идиотскую игру в мяч, начисто забыв о Колумбе, бом-брам-сеях, гиках, стеньгах, клотиках и соленых брызгах.

С тех пор я навсегда возненавидел игру в мяч и еще больше мне захотелось убежать юнгой на корабль.

А может, на «Альфе» нужен библиотекарь?

1962

ИЗ БЛОКНОТА

1. Царь-рыба

Как известно еще из старых учебников, город Киев стоит на пересечении великих торговых путей. Когда-то по этим путям «из варяг в греки» проплывали в своих челнах викинги и купцы, сейчас же на поездах и самолетах проплывают на юг и обратно друзья и знакомые. И всем им обязательно почему-то нужно остановиться в Киеве.

«Встречайте шестнадцатого поезд четырнадцать вагон двенадцать». «Прилетаем субботу симферопольским тчк Рассчитываем обычное гостеприимство». «Дороге Коктебель можем задержаться Киеве три-пять дней телеграфируйте возможность гостиницы». «Соскучились Киеву будем завтра бесконечно рады встрече...» А иногда просто уверенный звонок в дверь: «Не ожидали? А мы прямо к вам. С вокзала и прямо к вам на голову. Вырвалась неделька свободная».

Обычно все это происходит летом — июнь, июль, август, — в этом же году захлестнуло почему-то и сентябрь. Приблизительно к середине месяца я уже острой ненавистью ненавидел вокзал, аэродромы, городскую станцию,

кассы Аэрофлота, а заодно любимые мои киевские каштаны, Андреевскую церковь, Русский музей («Говорят, там у вас великолепная богоматерь Врубеля»), Софию со всеми ее фресками, набережную, Выдубецкий монастырь и бесконечно благодарен был только тем безвестным мне людям, которые надумали закрыть на ремонт Лавру.

Веселые и отдохнувшие или только собирающиеся отдохнуть, в высшей степени любознательные и неутомимые гости восторгались красотами Киева, поражались нам, киевлянам, которые зачем-то едут на юг, «когда у вас тут настоящий курорт, и воздух, и зелень, и пляж», покупали к чаю обязательные торты, рылись в книгах, спать ложились не раньше двух часов ночи («Мы так еще мало поговорили»), вставали в восемь, а то и в семь («У вас такие тут утра»), а мне надо было кончать работу.

К двадцатому числу я созрел полностью. Надо бежать! Куда угодно — в лес, в пустыню Гоби, на Северный полюс, но бежать. И тут мне повезло — выяснилось, что у моего друга, художника, третью уже неделю живут родственники жены и он, так же как и я, мечтает о тишине, покое и возможности хоть немножко уединиться, поработать.

— А что, если мы с тобой, — сказал он мне, — рванем на недельку-полторы, ну, хотя бы в Остер? Я когда-то там жил, местечко чудесное, на берегу Десны, хозяева знакомые, дом у самой речки, дачники разъехались, что еще надо? Ты будешь кончать свою работу, я напишу малость этюды — третий год собираюсь, и все нет времени. Ей-богу, имеет смысл...

И мы рванули в Остер.

Трясаясь в междугородном автобусе, мы сначала только ликовали. Все позади — родственники, знакомые, телефонные звонки, дни рождения, свадьбы. Вот так вот, решительно взяли и отрубили. Надо же в конце концов и пора-

ботать. После Дарницы мы расстались с прошлым и перешли к планам на будущее.

Решено было жить по строгому регламенту. В семь подъем, легкая зарядка на берегу реки, завтрак — молоко с куском хлеба, и — за работу. Мой друг — на лодочку и на этюды, я же где-нибудь в саду, под деревом, привожу в порядок и заканчиваю свои записки о поездке во Францию, до которых за последние два месяца никак не дотягивались руки. После обеда небольшая прогулка пешком или на лодке, вечером еще часика два-три работы, потом легкий ужин и в десять отбой. Распорядок железный. Никаких отклонений. Дисциплина в работе — самое важное. За десять дней можно сделать бог знает сколько. Главное — втянуться, войти в ритм.

В Остер приехали часа в три. Городок действительно оказался чудесный — небольшой, зеленый, с одноэтажными беленькими домиками, широкими, мягкими, заросшими травой улицами и удивительно уютной гостиницей с бродящими по двору курами и развешанными майками и носками на крылечке. Мест в ней, правда, не оказалось, но мы на нее и не рассчитывали и с легким сердцем, подхватив свои рюкзаки и чемоданчики, отправились к хозяевам моего друга, которые приняли нас с распростертыми объятиями. В наше распоряжение предоставлена была комната с верандой, две кровати, лодка, и утром и вечером по литру молока. Фундамент был заложен.

В виде исключения, да и вообще день был уже разбит, решено было сегодня не работать. Взяли хозяйскую плоскодонку и, не торопясь, двинулись вверх по течению.

Описывать красоты Десны не буду, скажу только, что те три часа, которые провели на реке, мы только ахали и вздыхали. Восторгались всем: берегами, бакенами, чистым песочком, высокими одинокими осокорями, быстрым течением реки, галдящими стаями грачей, солнечным зака-

том, плавающими уточками, тоненьким молодым месяцем. Вздыхали и ахали.

— Ну и ну. Е-елки зеленые. А воздух-то, воздух... Работать здесь будет — не говори...

На обратном пути, сидя на правилке и поглядывая на усеянный рыбаками берег, мой друг сказал:

— Здесь рыбы прорва. Надо будет разок-другой посидеть с удочкой. У хозяина есть, я видел. Ты давно не пробовал свежей рыбки?

— Миллион лет! — беспечно ответил я, увлеченный сладостным ритмом взмаха своих весел и не подозревая всего, что нас ждало впереди.

А ждало нас то, что на следующий день был «храм». Хозяева бог весть когда ушли в церковь, забыв оставить нам молока, и мы с горя пошли на базар. Это был роковой шаг.

На базаре мы купили рыбу. Купили подлещиков. Десять штук. Мой друг посмотрел им под жабры и сказал: — Дай бог какие!

Придя домой, мы взяли таз и пошли на речку потрошить рыбу. Мой друг потрошил, а я смотрел. Делал он это очень ловко, будто всю жизнь этим занимался. Потом мы жарили подлещиков на керогазе. Муку и подсолнечное масло пришлось взаимнообразно стащить у хозяев. Потом мы подлещиков съели. Все десять штук сразу. Нет, мы не ели — мы стонали. Обсосали все головы, все косточки — хозяйская кошка глядела на нас с ненавистью.

Потом, раздувшиеся, лежали на теплом песочке на берегу Десны и, лениво глядя на проплывавших мимо в своих челноках рыбаков, думали о разнообразии фауны украинских рек и о том, какого счастья лишены мы, жители больших городов, довольствующиеся мороженой камбалой и исландскими судаками из гастрономовских холодильников.

Так мы лежали на песочке и думали, подставляя солнцу то спину, то живот, потом перестали думать и заснули. Ни о какой работе в этот день не могло быть и речи.

На следующий день мы решили до работы еще, утречком, сбегать все-таки на базар, купить рыбы, почистить ее и оставить до обеда. Рыбы на базаре оказалось много. Мы купили два довольно крупных леща, три окуня и с десяток красноперок. Потом довольно долго стояли в очереди за газетой. Когда вернулись домой, выяснилось, что мы очень голодны и глупо тянуть с обедом, когда есть хочется именно сейчас.

Хрустящие и румяные наши окуни и лещи превзошли вчерашних подлещиков (подлещик все-таки рыба костистая), но и они, в свою очередь, померкли перед линьками, купленными нами на следующий день. Это была уже вершина, царь-рыба, форель, нежная, бескостная, тающая на языке. В этот день мы жарили ее два раза — утром и в обед.

Хозяева заинтересовались: где мы покупаем рыбу, неужели на базаре? Там же все в два раза дороже. Рыбу надо покупать прямо на берегу, у рыбаков, когда те возвращаются домой. Вечерком, часиков в семь, или рано утром, перед восходом солнца. Бывает, правда, и в двенадцать, в час — это те, которые не на ночь, а утречком уходят на ловлю. У них можно за рубль купить столько, сколько на базаре за три не достанешь.

И мы стали ловить рыбаков — утром, днем, вечером. Мы потеряли покой. Мы ни о чем другом не думали — только о рыбе. Нам все время казалось, что у нас ее мало, что мы купили не ту, что надо, что вот не пожадничай мы и дождись старика с бельмом, мы имели бы десяток первоклассных толстых линьков, а так приходится жевать жестковатых все-таки окуней.

В довершение всего мой друг достал где-то удочку. Этим была поставлена последняя точка. Сев в лодку, мы уходили далеко на пустынный островок возле понтонной переправы, и там, пока мой друг на все виды наживки — хлеб, тесто с яйцом, речную улитку (шкальку), мотыля, червя, пареный горох и даже на овес — пытался пополнить наш рыбный запас (за неделю было поймано четыре красноперки величиной с палец, три плиточки и две бублицы), я нежился на солнце, смотрел на проплывавшие мимо самоходные баржи, бил на себе злых осенних мух и твердо давал себе обещание завтра же приступить к работе. Потом, борясь с течением и споря, к какому берегу надо ближе держаться, мы торопились домой, боясь прозевать вечерних рыбаков, а добравшись домой, бросались к керогазу, жарили, а затем, сопя и стеная, уничтожали двухдневный запас линьков и лещей.

К концу недели стало ясно, что надо из Остра бежать. Во всяком случае, мне, если я действительно хочу кончить работу. Куда угодно — в дремучий лес, на Северный полюс, в пустыню Гоби, на худой конец просто в Киев...

После этого мы прожили еще три дня — надо было дожждаться пятницы, когда должны были вернуться с рыбалки старые, опытные рыбаки, ушедшие вверх по течению на пять суток. Не возвращаться же домой с пустыми руками...

За десять дней не было сделано ни одного мазка кистью, ни одного штриха карандашом, не раскрыт даже этюдник, не развязана папка с моими бумагами, не написана ни одна строчка... Впрочем, вру — две первые страницы этого очерка (признаюсь, у меня была тайная мысль между делом написать страничек двадцать об Остре, о красотах Десны) написаны были на телефонном переговорном пункте в ожидании, пока мне дадут Киев. Вот и все, что я успел.

Кончаю я эти скорбные заметки уже в Киеве, вернее, на Бориспольском аэродроме. Самолет из Москвы («Буду субботу пролетом Киеве рейс 324 встречай твой Колька») задержался с вылетом на три часа, ресторан закрыт на ремонт, вот и пристроился на скамеечке, вспоминаю Остер, Десну, керогаз, линьков... Царь-рыба, ей-богу!

2. Из Касабланки в Дарницу

Как это часто бывает, в последнюю минуту «ТУ-104» заменили на «АН-10», и написанные на билетах номера мест потеряли свою силу. У трапа к самолету началась легкая давка. Я вошел в самолет одним из последних. Свободных мест оказалось два. Одно рядом с немолодым человеком, на лице которого было написано явное желание поговорить или предложить партию в шахматы, другое — возле двух молоденьких солдат. Я выбрал солдат — мне почему-то всегда стыдно признаться в своем неумении играть в шахматы. Солдаты уже ели сало, аккуратно нарежая его тоненькими, красивыми, розовыми ломтиками. Оба были слегка навеселе.

Тот, что резал сало, был боек, хитроглаз, и в силу определенных обстоятельств говорил немного громче, чем следовало бы. Багаж его состоял из небольшого чемоданчика и аккуратно сложенной шинели, покоившейся в сетке. Он демобилизовался и ехал к себе домой, под Киев. Звали его Петро. Другой солдат был поскромнее, молчаливее и загадочнее. У него не было ни чемоданчика, ни шинели. Судя по всему, парень вырвался на воскресенье по каким-то своим, думаю, амурным (сужу по взглядам и улыбкам) делам в Киев. Звали его тоже Петром, вернее Петей. По-знакомились оба Петра час тому назад во Внукове.

Пока ели сало (мне тоже кое-что досталось) и самолет выруливал на старт, бойкий Петро весело смеялся, предвкусывая эффект своего неожиданного появления дома.

— Ох, и удивляться ж маты. Ох, и удивляться. И все плакать будут, все плакать. Три года все-таки...

Второй Петро помалкивал, налегая на сало.

Когда сало было уничтожено и мы поднялись в воздух, оба солдата заснули. Я тоже. Так мы летели час двадцать минут. В девять вечера, минута в минуту, сели на Бориспольский аэродром.

— Я думаю, надо взять такси,— сказал бойкий Петро.

— Я тоже так думаю,— согласился молчаливый Петя.

Я вошел в долю.

Такси оказалось вместительным, поэтому решено было, пока таксист подберет еще двух пассажиров, сбегать в буфет.

В буфете выпили какой-то дряни, потом Петро сказал:

— Я думаю, надо все-таки чего-то взять домой. А, солдаты?

Солдат согласился. Мы взяли три бутылки венгерского «токая» — крепче ничего не было. Я зачем-то тоже взял.

Вернулись к такси. Там уже сидели двое.

— А-а, привет,— донеслось с заднего сиденья.— Издалека летишь?

Я наклонился и с трудом в темноте узнал знакомого детского писателя.

— Из Москвы,— сказал я.— А ты?

— Из Касабланки.— Он указал на своего соседа, скрытого каким-то большим предметом, лежавшим у него на коленях.— Знакомься, товарищ из обкома комсомола.

Мы познакомились, солдаты тоже. Рассевшись по своим местам, тронулись. Поехали по прямому, обсаженному деревьями Бориспольскому, оно же Харьковское, шоссе.

— Да, все-таки странно,— сказал детский писатель.— Никак к этому не привыкнешь. Утром Касабланка, днем Париж, вечером Москва... А через час буду уже дома...

Я согласился, что странно, а бойкий Петро сказал: «Техника!» — и спросил, на каком самолете писатель летел из Парижа.

— На «Каравелле» компании «Эр-Франс». Хороший самолет. Впрочем, наш «ТУ» ему не уступит.

Потом он начал рассказывать о Марокко. Страна поразила его, главным образом, своими контрастами. На одном полюсе роскошь и богатство, громадные отели, «эр-кондишен», на другом нищета, болезни, голод.

— Мы были делегацией, поэтому могли видеть только то, что показывали, но кое-что удалось уловить все-таки. Были в Марокко, Фесе, Касабланке, Марракеше. Видали живого султана.

— А что они там пьют? — перебил Петро.

— Кто?

— Ну, маракешские эти самые.

— Марокканцы то есть? Как и везде на Западе: богатые — коньяк и всякие там виски, бедные — дешевое вино или какую-нибудь гадость вроде самогона.

— А какую именно, не знаете?

— Нет, не знаю,— сказал писатель и стал опять рассказывать о марокканском султানে.

Так, постепенно расширяя свой круг знаний о Марокко, мы подъехали к Дарнице. Тут Петро сказал:

— Товарищи, я тут совсем недалеко живу. До моего села четыре километра. Вот от этого поворота четыре километра. Может, завезете?

— А ты дорогу знаешь? — спросил шофер.

— А как же. С закрытыми глазами.

Шофер обернулся к нам:

— Как вы, товарищи?

— Четыре так четыре. Подвезем защитника родины?

— Подвезем,— согласился писатель.

Работник обкома ничего не сказал, он спал.

От «того поворота» повернули налево. Проехали минут пять. Появились какие-то большие строящиеся дома. Петро похлопал шофера по плечу:

— погоди малость. Что-то этих домов не было.

Шофер затормозил.

— Не туда, что ль, едем?

Работник обкома проснулся, приплюснулся носом к стеклу:

— заблудились никак? Из Борисполя? Нужно уметь...

— Ничего не заблудились,— слегка раздраженно сказал Петро.— Ладно, поехали дальше.

Через несколько минут Петро опять остановил машину.

— Дай-ка я вылезу, погляжу по сторонам. Что-то и трубы я этой не узнаю.

Поглядев, вернулся.

— Свертай направо. Там деревянный мостик должен быть.

Но никакого мостика не оказалось. Оказался лес. Потом какой-то буерак. Машину качало из стороны в сторону. Петро чесал затылок.

— Три года все-таки... А ну, стой, давай сюда!

Шофер повернул. Нам попался какой-то исключительный шофер. Он почему-то не ворчал — ехал и ехал. Остальные молчали. О Марокко забыли.

Проснувшийся работник обкома закурил и спичкой присветил часы.

— Одинадцатый час уже. Нехорошо как-то получается. Дома ждут...

— Ладно, ладно,— примирительно сказал писатель.

Проехали еще сколько-то там времени. Пересекли вброд ручеек, и тут вдруг Петро оживился:

— Погоди, погоди. Это уже наше. Давай прямо, вон туда.

Впереди мигнул огонек. Село.

— Давай, давай!

Въехали в село. Оно спало. Мигнувший издали огонек тоже погас.

— Стоп! Тут...

Петро выскочил первый, стал стучать в окно.

— Э-э... Кто там?

...В хате негде было повернуться. Нас шестеро, мать Петра, его сестра, муж сестры и еще племянник — восьмилетний Гриць.

Мать — Килина Петровна, на одно лицо с сыном, только поморщинистее и потемнее — поплакала, пообнималась с сыном и засуетилась у стола.

— Ох, лишенько мое, что ж ты телеграмму-то не дал... Самогон-то только у Козланючки есть, а ее не добудишься, спит как колода.

— Ничего, мамо, у нас венгерское есть... Перша кляса...

Оба солдата скинули с себя гимнастерки, переоделись в ковбойки и сразу стали деревенскими ребятами.

Сестра, коренастая и тоже похожая на брата, стала разводить огонь. Зятя послали все-таки к Козланючке за самогоном. Гриць возился у чемодана: «А мне что, мне что?»

«Токай» был разлит в две фаянсовые и одну медную кружку, два граненых стакана и зятевский стаканчик для бритья. Шофер не пил, только улыбался — славный парень, никогда я таких покладистых шоферов не видал.

Работник обкома — он почему-то принес с собой из машины большой предмет, который держал на коленях, это

оказалась детская лошадь-качалка лилового цвета,— по-приветствовал мать и сына, которые не видались три года, пожелал им успеха в мирном труде и личной жизни.

Писатель заплодировал (все его поддержали) и тоже сказал несколько слов о том, что ему очень приятно, ступив, так сказать, по-настоящему на советскую землю, оказаться сегодня именно здесь.

— Вы не представляете,— сказала он,— какое счастье возвращаться домой. Сегодня утром мы были еще в Африке, в далеком Марокко, днем в Париже, а сейчас вот у вас...

Под конец он попросил разрешения от имени двух присутствующих писателей, представителя обкома комсомола и славного водителя такси, а заодно — тут он улыбнулся — от трудящихся той страны, из которой мы сейчас прилетели, пожелать всем всего самого наилучшего.

К концу его маленькой речи вернулся зять еще с двумя заспанными парнями. Карманы их оттопыривались. Все были немного смущены.

Работник обкома посмотрел на часы и взял свою лошадь.

— Товарищи, двенадцатый час... В шесть мы еще в Марокко были.

— Да никакой мороки нема. Останьтесь. Тилькы ради будемо,— суетилась старуха.— Выпьемо по рюмочки...

Петро тоже просил остаться, остальные молчали. Гриць открыл чемодан и пытался влезть в диагоналевые галифе.

Мы распрощались. В комнату входили все новые и новые люди.

Когда мы тронулись, до нас донеслись первые тягучие аккорды баяна.

Весь остаток дороги писатель рассказывал о контрастах Марокко.

Все начинается в зоопарке. Совершенно случайно маленький ребенок попадает в клетку к белым медведям. Паника. Все растеряны. У решетки девушка и молодой человек с фотоаппаратом. Тоже не знают, что делать. Внезапно в клетку, вернее, в огороженный решеткой ров, где живут медведи, прыгает человек. Он спасает ребенка. Все ликует. В поднявшейся суматохе спаситель,— вид у него совсем не героический, очки и вообще вахлак вахлаком, хочет улизнуть на велосипеде. Но его замечает девушка, та самая, что была с молодым человеком. Слово за слово, и они оказываются у девушки дома. Парень дико застенчив. Выпив чего-то спиртного, становится смелее. Но тут в комнату вваливается веселая компания молодежи: «Где спаситель? Мы хотим на него посмотреть. Он здесь, мы знаем». Но спаситель уже скис. «Расскажите о своем геройском поступке»,— просят его, а он не может, не знает, что рассказывать, его развезло. А молодежи весело. Затевают игру, что-то вроде жмурок. Спасителю завязывают глаза, он неуклюже тычется среди веселой, хохочущей молодежи и вдруг остановился. Поднял руки вверх. Застыл. Пауза. Все насторожились. И спаситель вдруг начинает говорить...

Вот так же были завязаны глаза и такой же вокруг был шум, крик. И его толкают автоматом в спину. И так же он останавливается у стенки с поднятыми руками... Это было давно. В Варшаве. В 1944 году. Он говорит, но его уже не слушают. Господи, опять о войне? Сколько можно рассказывать о войне? Молодежь хочет веселиться... Хватит воспоминаний.

Кончается все очень грустно. К девушке возвращается ее друг с фотоаппаратом, тот самый, что растерялся у клетки с медведями, а парень в очках уезжает на своем велосипеде. Через какие-то пустыри, заснеженные огороды, остатки развалин... Конец... В зале вспыхивает свет.

Тискаясь в проходах, в фойе на лестнице Дома кино, у гардероба, долго еще спорят об этой маленькой киноновелле Анджея Вайды, последней из пяти, входящих в фильм «Любовь двадцатилетних». О первых четырех говорят, — нравятся или не нравятся, — об этой же спорят.

Больше всех горячится Генка, мой друг.

— Неправда! Выдумка! Чистейшей воды выдумка. Нарочито от начала до конца. Неправда. Никогда не соглашусь.

Генке 25 лет. В картине он видит только выпад по адресу своего поколения. Оно не такое. Он не знает, как там, в Польше, но у нас оно не такое. Да, они не принимали участия в войне, но для них все связанное с нею так же свято, как и для нас. Анджей Вайда, конечно, очень талантливый режиссер, может быть, один из самых талантливых сейчас, но картина явно тенденциозная, чтоб не сказать клеветническая.

Мне почему-то не хочется спорить. Генка убеждает куда-нибудь пойти, но и идти никуда не хочется. Я спускаюсь в гардероб, стараясь, чтоб никто из знакомых не попался мне навстречу, одеваюсь и медленно бреду по Васильевской в сторону улицы Горького.

Передо мной лицо Цибульского, актера, игравшего спасителя в очках. Напряженное, растерянное, застывшее. И с трудом выдавливаемые слова. И взгляд куда-то внутрь, в прошлое. А кругом веселые ребята — им хочется петь, танцевать, валять дурака, им по 20 лет, им весело...

Моросит дождик. В какой-то хронике военных лет я видел, как по этой самой улице Горького, по которой я сейчас иду, цепляясь за троссы, «вели» раздувшийся аэростат противовоздушной защиты. Сейчас машины, такси, троллейбусы. Горят рекламы на домах.

Неужели действительно надоело, забылось то время? Неужели Вайда прав?

Генка говорит — нет! Он возмущен. Но Генке не двадцать, ему двадцать пять, а может быть, и все двадцать семь. Семь лет большая разница. К концу войны ему было десять лет, а двадцатилетним — три. Генка смутно, но помнит еще бомбежки, немецких пленных, играл в развалинах, подбирал патроны, гранаты — для него война это тоже кусочек жизни. Для двадцатилетних — только рассказы взрослых, прочитанное в книгах, увиденное в кино.

И все же...

Для чего же мы тогда пишем книги, ставим кинофильмы, только для себя? Или, может, в книгах и фильмах молодежь интересуется только героическое? А тяжелое, страшное отвергает? А может, вообще двадцати годам свойственно больше думать о будущем, чем о прошлом? Для меня, моего поколения война была самым важным в жизни, для них самое важное — дай бог не война! — еще впереди... О чем думал я, когда мне было двадцать лет? Начало тридцатых годов, не самые легкие годы — коллективизация, голод, первые карточки, пайки. А я мечтал стать великим архитектором, советским Корбюзье. Все впереди...

И все же Генка прав! Я хочу, чтобы он был прав. Вайда слишком сгустил, обострил, уплотнил. Он дьявольски талантлив, он может убедить. А я сопротивляюсь, я не хочу этому верить. Я понимаю, что...

— Алло! Стой! Тормози!

Такси со скрежетом останавливается возле меня. Из раскрытой дверцы знакомые голоса:

— Куда? И вид почему грустный? Давайте с нами. Места хватит. Подвигайся, ребята!..

Таксист слегка сопротивляется, но его уламывают — «расходы берем на себя». Сажусь на чьи-то колени.

Только что кончилась премьера. Как говорится, прошла с успехом. Хотели поехать во ВТО, да там народу слишком много. Да и вообще в ресторан не хочется. Решили ехать к Мише. И вот видим — идет какая-то понурая фигура. Ну как не посочувствовать?

Все веселы, оживлены. И мне становится веселее. Я не огорчен, что меня подобрали.

Бывают такие вечера — увы, теперь уже не часто, — когда действительно все весело. Весело ловить такси, спускаться по эскалатору, вскакивать на ходу в битком набитый троллейбус, подсчитывать в гастрономе деньги, выбивать чеки, получать у хорошенькой (ей-богу же, хорошенькой) продавщицы колбасу, сыр, ну и еще там кое-чего... Все как-то ладно и хорошо.

Такой вечер и сегодня. Таксист не молодой, но приветливый охотно ждет у магазинов, не ворчит. У Елисева обнаруживается таллинская килька и польская «выборова». Милиционер, когда мы проехали под «кирпичом», только погрозил пальцем. Улица Горького уже не кажется мне самодовольной и все забывшей. И дождь ей даже к лицу — все отражается, блестит, делает ее еще более городской, современной. А главное, Мишина жена ни-

сколько не огорчена нашим поздним приходом. Мило, приветливо улыбается.

Ах, как быстро и весело накрывается стол. Это сюда, это туда. Ты — бутылки, ты — консервы. Картошку? Можно и картошку, если не долго. Нарзан в холодильнике — тащи его... Даже селедка начищенная есть — ура! Да здравствует семейная жизнь!

До чего же все-таки хороши такие случайные встречи. Без всяких приглашений, услаиваний, подготовок. Не томишься в соседней комнате, пока хозяева накроют на стол. Не ждешь кого-то опоздавшего. Не слоняешься вдоль стен, разглядывая картины и фотографии, не листаешь книг, не ведешь серьезного разговора с пожилыми родителями о повышенном давлении, неустойчивой погоде, чьем-то инфаркте...

Все кажется удивительно вкусным. И колбаса, и сыр, и хлеб такой свежий. И водка почему-то не берет — все веселы, но не больше. Иногда только хозяин скажет: «Тише, там же спят», — и все в течение полутора минут говорят шепотом, а потом опять.

Нас шестеро. Кроме меня, все актеры. Молодые актеры. К тому же талантливые. И умные. Нет, не потому, что мне вдруг стало все нравиться, а потому, что действительно молодые, талантливые, умные. И ничего из себя не корчат, не разглагольствуют. Троицким из пяти я гожусь в отцы, но сейчас я чувствую себя их ровесником. Мне кажется, что я тоже вместе с ними только что отыграл премьеру и что совсем недавно, а не двадцать пять лет назад я окончил театральную студию, и меня также интересует и волнует пьеса, которую они только что поставили, а их — судьба небольшой моей повести, которая недавно вышла в свет. Все у нас общее — интересы, стремления, надежды, взгляды на то, на это. Да, как жаль, что я не умею писать пьесы, а то сидел бы с ними на репетициях, спорил бы, доказывал.

сомневался. Пусть даже ссорился, а потом мирился бы и с трепетом сидел бы рядом на генералке, кусал ногти.

Стол пустеет. Со стены снимается гитара. Один из гостей, постарше, мастер петь песенки. Он знает их много — фронтовые, блатные, конечно, Окуджаву. Голоса у него нет, но поет хорошо. Мы подтягиваем.

Светаёт. Но домой не хочется. Спать? Кому хочется сейчас спать?

Троим из пятерых я гожусь в отцы... Чепуха! Мне тоже двадцать пять лет! Не больше. Я тоже пою, острою, валяю дурака. И никто надо мной не смеется. Я свой среди своих. Мы все равны. Нас ничто не разделяет...

Гитарист запел вдруг «Землянку». От нее мне всегда становится как-то не по себе, начинает что-то шевелиться, вспоминаться, становится грустно.

— А вы знаете, Николай ведь тоже в Сталинграде воевал.

— В Сталинграде? Вот это да... Где? У кого? В 92-й бригаде? Батюшки, соседи. Даже более чем соседи — в декабре нас передвинули правее, и 92-я заняла наши позиции на Мамаевом... Забавно. Может, Николай в моей землянке даже жил... Ничего не поделаешь, придется выпить.

Из бутылок сжеживаются последние остатки. Чокаемся. За 92-ю, за нашу 289-ю... Пошли! Да, были денечки...

Я ставлю рюмку на стол и...

Почему в комнате такая тишина? Почему все вдруг умолкли? Сидят и очень вежливо смотрят на нас с Николаем. Молчат.

— Может, рассказали бы нам что-нибудь о Сталинграде? — прерывает кто-то молчание. И в этом вопросе, в этой просьбе столько внимания, столько предупредительности.

— Серьезно, расскажите чего-нибудь...

Я смотрю на Николая. Он откладывает гитару.

— Что ж. Ладно. Можно и рассказать.

Он вынимает папиросу, медленно раскручивает ее и, закурив, начинает со слов: «Было это, как сейчас помню, в ноябре сорок второго года».

Он говорит, а я смотрю на лица. На них внимание, одно внимание, сплошное внимание. Как будто никто ни грамма не выпил.

Николай безжалостен... Немцы на них наседають, а патроны кончаются, и пулемет заело, и один за другим все гибнут вокруг него, остался один только связной. И вот он говорит ему, обливаясь кровью...

— Миша, друг, пока не поздно... Вся надежда на тебя... Пока немцы подтягиваются, сбегай-ка на кухню, там в холодильнике, я видел, недопитая поллитровка стоит... Не жмись, тащи-ка ее сюда...

Николай не ошибся. В холодильнике действительно кое-что нашлось — для компресса ребенку, как было сказано, — и опять все становится на свое место, опять весело, шумно, опять блатные песенки, опять шутки, остроты, анекдоты. И мне тоже весело. Очень даже...

Расстаемся поздно. Вернее, рано, часов около пяти, на улице совсем уже светло. Расстаемся друзьями. Двое из троих, которым я гожусь в отцы, едут со мной в такси. Славные, хорошие ребята. Если сложить их возраст, получится как раз мой.

У «Маяковской» мы прощаемся. Ребята чуть-чуть смущены. А может, это мне только кажется. Нет, я ни на кого не в обиде. Просто мне немножко жаль, что Николай запел «Землянку»...

1964

ТРИ ВСТРЕЧИ

Герой в книге и в жизни... Как много об этом уже написано — умного, интересного, поучительного. И все-таки, сколько бы ты ни прочел книг и статей на эту тему, разобраться по-настоящему в этом сложнейшем клубке взаимоотношений не удастся, пока не обратишься к тому, что испытал на собственном горбу, на собственных ребрах.

Прошло ровно пятнадцать лет с того дня, как я расстался с человеком, с которым дружил очень недолго — менее полугода, но память о котором сохранил на всю жизнь. Мы расстались — я хорошо помню этот день — 25 июля 1944 года в Люблине. Он пришел на следующий день после моего ранения в санчасть, где я лежал, и принес мне ложку, бритвенный прибор, зубную щетку, мыло и планшетку с документами. Звали его Валегу.

Познакомились мы с ним в марте того же года, незадолго до того, как наши войска форсировали Южный Буг. По счастливой случайности я попал после госпиталя в саперный батальон той самой дивизии, в которой воевал еще в Сталинграде. Получил назначение замкомбатом по строевой, а Валегу мне дали в связные. Не могу сказать, чтоб он

обрадовался этой новой должности. Присланный начальником штаба, он стоял передо мной, маленький, головастый, недоброжелательный, с глазами, устремленными в землю. Я вспомнил Котеленца, комбатовского ординарца — озорного, хитроглазого, легконогого пройдоху, — и невольно подумал: «Бирюк...»

— Ну, так как, — сказал я, — пойдешь ко мне в связные?

— Как прикажете, — сумрачно ответил он.

— А хочешь?

— Нет.

— Не хочешь? — Я удивился. Обычно об этой должности «не бей лежачего» только мечтали.

— Нет, — повторил он и впервые поднял глаза, маленькие и очень серьезные.

— А почему?

— Так...

— Что это значит — так?

Он пожал плечами и опять, только тише, повторил свое «так».

Я все понял. Ему, провоевавшему весь Сталинград солдату-саперу, казалось зазорным идти в услужение. Это решило вопрос. В тот же вечер он перетащил ко мне свой сидор и, узнав, что поручений никаких нет, сел у лампы и молча стал чистить автомат.

Мы провоевали с ним недолго, всего четыре месяца — апрель, май, июнь и неполный июль. Вместе прошли от Буга до Одессы, потом попали на Днестр, оттуда — в Польшу. Спали, ели, ходили на задания всегда вместе. Мы мало с ним разговаривали: он был молчалив и, даже выпивши, не становился болтливее. Иногда только чуть-чуть приоткрывается — в душную ночь, когда не спится, или в лесу у ползутых костра, — заговорит вдруг об Алтае, об охоте на медведя, о чем-то очень далеком от войны, и слушать его неторопливую, основательную, чуть стариковскую

речь было бесконечно интересно. Особенно мне, насквозь городскому человеку. И сразу становилось как-то спокойно и уютно. Вообще в нем было что-то, что невероятно притягивало к нему,— то ли невозмутимое спокойствие в любой обстановке, то ли умение всегда найти себе какое-то занятие, то ли желание всегда помочь, причем желание, исходившее не от его положения, а от его характера. Стремления услужить, чтоб угодить, в нем не было, просто он не мог спокойно видеть, как кто-нибудь в его присутствии делает что-нибудь плохо и неумело. Сам же он делал все хорошо, быстро и всегда с любовью.

Один только раз он оказался не на высоте — в течение часа варил в котелке трофейный кофе в зернах, а потом пришел и руками развел: «Ничего не понимаю, товарищ капитан... Варю, варю, а оно не разваривается...» Других неудач я не помню.

И еще одна черта. Подвернется минута свободная — от поручений, заданий, штопки, варки, земляночного благоустройства, — не ляжет спать, как положено заправскому солдату, а подойдет и спросит: «Разрешите к ребятам пойти?» И идет, и копает вместе с ними, строит какой-нибудь НП или КП. Моего общества ему, конечно же, было мало.

В день моего ранения он оставался в расположении батальона и только на следующее утро разыскал меня в санчасти. Явился насупленный и недовольный. По всему видно было, что он осуждает меня. Несмотря на разницу между нами в пятнадцать лет (ему было восемнадцать, мне тридцать три), он считал себя в чем-то старше и опытнее и сейчас ни минуты не сомневался, что, будь мы вместе, со мной ничего не случилось бы. И под осуждающим его взглядом я почувствовал себя виноватым.

Прощаясь, я очень хотел расцеловаться с ним, но он сантиментов не любил, пожал мне левую (здоровую) руку и, сказав: «Поправляйтесь!», ушел.

Больше я его не видал. Дивизия двинулась дальше, на Варшаву, а я, проболтавшись дней десять в Люблине, был эвакуирован в тыл, и воевать мне больше не пришлось.

Года через два я встретил одного из наших командиров и от него узнал, что Валега после моего ранения вернулся в роту, потом некоторое время работал поваром на кухне, а через месяц или полтора на Сандомирском плацдарме был легко ранен и отправлен в медсанбат. Дальнейшая его судьба мне не известна. Все попытки разыскать его ни к чему не привели. Верю, надеюсь, что он жив, но так ли это и где он, — не знаю. Даже фотокарточки его у меня нет.

Счастье писателя, — а я не сомневаюсь, что это настоящее, большое счастье, — в том, что он может продолжить прервавшуюся по каким-либо причинам дружбу. Свою дружбу с Валегой я продолжил «В окопах Сталинграда».

В театральном языке есть термин «предлагаемые обстоятельства». Это значит, что тебе, актеру, предлагается представить себе и изобразить перед зрителем состояние и поведение своего героя в тех или иных обстоятельствах — в гостях, на толкучке, в кабинете знаменитого профессора или при встрече с грабителями.

Вся моя «вторая» дружба с Валегой в какой-то своей части была построена именно на подобных «предлагаемых обстоятельствах». Я не боюсь этого сухого слова «построена» — в этом «строительстве» Валега не потерял ни одной своей черты, не приобрел никакой новой, но присущие ему черты, попав на другую почву, как бы расцвели, окрепли. Мне же это «строительство» дало возможность возобновить свои встречи с Валегой, и были они всегда радостными, интересными и разнообразными.

О пределе власти писателя над своим героем писалось уже много. Она не безгранична. Она до поры, до времени. И пользоваться ею надо очень осторожно. Герой не из воска, чего угодно из него не вылепишь, он по-своему живой,

с мускулами, кровью, сердцем. И очень раним. Он не переносит насилия. И если уж он не полюбит писателя, то читатель и подавно. Кажется, чего уж проще — взял и перебрал своего героя, как я, например, позволил себе сделать, из одного времени в другое, из Одессы в Сталинград: сиди на своем месте и делай, что тебе приказывают... Оказывается, нет. На фронте мне куда легче было приказывать Валеге, чем в книге. В книге он мне мстил за всякое своеволие, и мстил правильно, умно. И спасибо ему за это.

В книге есть такой эпизод. Лейтенант Керженцев с двумя ротами оказывается окруженным на небольшой сопке. И вдруг совершенно неожиданно там появляется Валега, которого Керженцев с собой не взял. Явился с шинелью, банкой тушенки, без чьего-либо приказа, просто потому, что он считал, что так надо. Нечто подобное, правда, в несколько менее сложной обстановке, произошло на самом деле, только не в Сталинграде, а полгода спустя на Днестре — наша дивизия держала там «пяточок» на правом берегу реки. Я перенес этот случай в книгу. И все было бы чин чинном, по всем правилам, Валега охотно пошел на уступки, перебрался с Днестра на Волгу; но дальше позволил себе поступать так, как он считал нужным.

На окруженной сопке подошла к концу вода. А она нужна всем — бойцам, раненым, пулеметам. В блиндаже идет разговор, где и как ее достать: кругом немцы, до Волги не добраться, ручьев никаких нет. И вот тут-то «книжный» Валега делает то, чего не мог не сделать настоящий Валега, окажись он в положении «книжного», — тихонько, никому не сказав ни слова, идет на поиски воды. Это — самое главное. Он не мог поступить иначе. А дальше я ему помог — подкинул немецкий термос с вином. Мы оказались квиты.

Начинающий (да и не только начинающий) писатель часто пытается доказать правильность какой-нибудь сцены

в своем произведении, ссылаясь на то, что «так было». «Ей-богу, уверяю вас, сам видел». Я читал в рукописи одну повесть, в которой бойцу во время атаки попала в живот мина. И не разорвалась. Он вырвал ее из живота и, добежав до немецких окопов, стал лупить ею немцев по головам. Автор с обезоруживающей искренностью пытался убедить меня, что он сам был свидетелем этого факта. Что можно было на это ответить?..

Нет, в искусстве, в литературе одним «так было» не обойдешься. Оно необходимо, оно основа любого реалистического произведения. Но чтоб произведение стало, кроме того, и художественным, нужно еще и другое — «этого не было, но если б было, то было бы именно так», или еще категоричнее — «не могло быть не так». В этом и заключается различие между романом, повестью, рассказом и записками, дневниками или документальной прозой. Жанры эти вовсе не исключают друг друга, более того — внешне они могут быть очень схожи. Но внутренняя их сущность, принципы воздействия на читателя различны. Кстати, не могу здесь не сказать, что самой большой похвалой для меня было, когда мою повесть называли записками офицера. Значит, мне удалось «обмануть» читателя, приблизить вымысел к достоверности. Это не страшный «обман», за него не краснеют, без него не может существовать никакое искусство.

И вот тут-то «предлагаемые обстоятельства» играют первостепеннейшую роль. Они должны быть точны и предельно правдивы, иначе герой не сможет ими воспользоваться или начнет дубасить неразорвавшейся миной противника по голове. И эти же «предлагаемые обстоятельства», если они только взяты из жизни, помогут тебе, писателю, правильно понять, увидеть своего героя и повести его туда, куда он и сам охотно пойдет. Не надо только заставлять его ходить на голове и говорить чужие слова: у него

есть свои, не придуманные и ничуть не хуже твоих — умеи их только услышать и понять.

В окопах Сталинграда нашей дружбе с Валегой никто не мешал. Пиши сколько хочешь, подкидывай своему герою любые «предлагаемые обстоятельства» — он всегда с ними справится. И расстались мы с ним вторично в 1946 году в Москве, на улице Станиславского, 24, в журнале «Знамя», вполне удовлетворенные друг другом.

Прошло десять лет. Мы опять встретились. На этот раз в Ленинграде, на студии «Ленфильм». И опять подружались. И длилась эта дружба два года, но, не в пример первым двум, оказалась куда сложнее.

До самого того момента, как я получил телеграмму из студии с предложением написать сценарий, я был убежден и убеждал других — по-моему, достаточно доказательно, — что экранизацией, да еще собственного произведения, заниматься нельзя. Помилуйте, кроме «Чапаева», ни одного случая в мировой кинематографии, чтобы фильм оказался лучше романа. И вообще роман есть роман, повесть есть повесть, а кино есть кино. Для кино надо писать оригинальные сценарии. Точка! Кроме того, у меня было еще не менее десятка убедительнейших аргументов. И все это полетело прахом, как только передо мной замаячила перспектива новой встречи со Сталинградом.

Вряд ли нужно рассказывать о том, что испытывает человек, когда попадает в те места, где когда-то воевал. А если к тому же не просто один — повспоминать, поклониться могилам, — а с целой группой людей, приехавших сюда специально, чтобы восстановить прошлое. Я ходил по Мамаеву кургану, узнавал или не узнавал обвалившиеся окопы, заросшие травой ямы, которые были когда-то землянками, и не очень уверенно говорил: «А вот здесь был артиллерийский НП, а здесь батарея «сорокапяток» при-

мой наводки, а там вот стоял подорвавшийся танк, за который почти три месяца шла ожесточенная борьба». Я говорил и говорил, и порой мне казалось, что я уже наскучил своим спутникам, что они слушают меня только из вежливости. Но это было не так. Уже потом, во время съемок, я понял, как дороги и святы были эти места и события, на них развернувшиеся, людям, пришедшим сюда с кинокамерами и юпитерами. Лучше всего эти чувства выразил молодой артист Леша Быков, которого нам очень хотелось переманить к себе в картину из Харьковского театра русской драмы. «Мы были тогда еще пацанами,— говорил он директору театра,— и не могли защищать Сталинград. Разрешите хоть теперь, на экране, принять участие в его защите». Леша Быков так и не попал к нам в картину, но слова его стали у нас чем-то вроде девиза.

Когда-нибудь я напишу о «Солдатах», о коллективе, который их снимал, о самих съемках, о препятствиях, стоявших на нашем пути, и о том, как мы их преодолевали,— история картины, сложная и поучительная, стоит этого. Но об этом в другой раз. Сейчас же хочется сказать только одно: та достоверность, которой удалось достигнуть постановщику фильма Александру Иванову в «Солдатах», все эти незаметные на первый взгляд детали, фронтовые черточки, окопные мелочи, солдатские повадки и словечки — одним словом, все то, что и создает в картине жизнь,— во многом зависели от настоящей, неподдельной заинтересованности в успехе нашего дела, которая чувствовалась во всем коллективе и в каждом человеке в отдельности, включая даже солдат, снимавшихся в массовках. Спасибо им всем.

Но вернемся к сценарию и Валеге. На первый взгляд Валеге в сценарии совсем не повезло. Так ли это?

Начнем со сценария.

После какого-то там варианта стало ясно, что, слепо

следуя книге, ты губишь и книгу и будущий фильм. Кино не может всего переварить. У него свои законы, и законы очень суровые: сеанс полтора часа, картина 2 700 метров, сценарий не больше восьмидесяти страниц на машинке. А в повести 250 страниц — 13 печатных листов. Что же делать? Выход один. На кинематографическом языке это называется делать «по мотивам». То есть та же мысль, те же основные события, те же основные герои, но не обязательно те же «предлагаемые обстоятельства». Короче говоря, ты делаешь некую «выжимку» из произведения, берешь из него самое существенное и лепишь нечто новое, рассчитанное уже не на читателя (режиссер и актеры не в счет), а на зрителя, у которого к тебе, писателю, совсем другие требования, чем у читателя. Не могу сказать, чтобы операция превращения книги в сценарий проходила легко. Автор всегда несколько переоценивает свой талант, поэтому расставание с отдельными сценами и героями воспринимает трагически. Только потом, когда картина уже закончена, он поймет, что в трех этих сакраментальных цифрах — 1½, 2 700 и 80 — заключена большая правда. Именно они — эти три цифры — приучают его к лаконизму, динамике, к композиционной четкости, ясности «кусков», заставляют заменять бесконечные диалоги двумя-тремя фразами, а еще лучше — взглядами (о немом кино!) и тем самым, скажем прямо, дают возможность актеру не только говорить, но и играть, а режиссеру — ставить. Кстати, должен сказать, что все эти качества — лаконизм, динамика, четкость и тому подобное — совсем не плохи и в прозе, поэтому работа писателя в кино — трудный, но очень полезный тренаж.

Но все это я понял, как и всякий начинающий автор, только после того, как увидел картину на экране. Когда же писал сценарий, мне казалось, что я преступно обкрадываю Валу, но ничего поделать не мог — душил метраж. Более

того, один из трех настоящих «Валегиных» эпизодов (остальные все «проходные») был честно взят из книги, другой начисто выдуман и только третий, единственный на всю картину, взят от «живого» Валеги. Я чувствовал себя перед ним бесконечно виноватым. Мне было стыдно.

И тут-то появилось третье лицо, которое, правда не сразу, но постепенно, исподволь, восстановило наши былые добрые отношения. Этим лицом был Юра Соловьев, выпускник ВГИКа, которому поручена была роль Валеги.

Сейчас, когда все уже позади, могу прямо сказать: лучшего Валеги не сыскать. Но тогда, четыре года назад, когда мы с Ивановым подбирали актеров, волнений было более чем достаточно. Перебрали около десятка человек и остановились наконец на Соловьеве. Он, правда, долго артачился: соглашался, отказывался, писал режиссеру длинные объяснительные письма, говорил, что роль не его плана, что он нас подведет, но в конце концов мы его все-таки скрепя сердце взяли, другого выхода не было, подпирала зимняя натура.

Как и все актеры, он, конечно же, считал, что роль ему бессовестно обкорнали, оставили одни рожки да ножки, и вообще в картине играть ему нечего. Я не очень убедительно пытался доказать ему, что дело не в размерах, не в количестве слов, но сам — чего греха таить! — в душе с ним соглашался.

Роль действительно маленькая. На десять частей в ней всего лишь семнадцать эпизодов. Из них в пяти Валега попросту молчит, в десяти говорит по два-три слова и только в двух, всего лишь в двух эпизодах, имеет какой-то словесный материал. И вот — всем на удивление — оказалось, что этого вполне достаточно.

Есть актеры, которые играют легко и весело. В перерывах шутят, балагурят и только перед объективом кинокамеры собираются, входят в роль. Юра Соловьев не таков.

Он без конца читал и перечитывал сценарий, книгу, ходил сумрачный, насупленный (как я потом узнал, это и было «вхождение в роль»), мучил костюмерш, подбирая гимнастерки и ботинки, обязательно большие, с загнутыми носами, как в книге, во время перерывов одолевал меня бесконечными вопросами и возникшими сомнениями. У него была специальная записная книжка, где он записывал «все о Валеге». Я видел ее. Мне было очень интересно ее читать. Он продолжил мою игру в «предлагаемые обстоятельства» и, должен признаться, удивительно метко попадал в точку.

Вообще Соловьев — сейчас мне это уже абсолютно ясно — всей своей ролью попал в самое яблочко. Он поймал суть «живого» Валеге, никогда его не выдав. Он нашел и понял обаяние человека, который никогда не улыбается. А как это трудно! «Живой» Валеге никогда не улыбался. Он не был сумрачен, он был серьезен, он всегда был занят, у него не было времени на улыбки. Соловьев на протяжении всего фильма ни разу не улыбается и все время занят каким-нибудь делом. Только в двух кадрах у него нет прямого занятия: в штабе, где они с Седых ждут решения своей участи, и в землянке, перед атакой, когда он слушает песенку Карнаухова. А так, если нет задания поважнее, стирает белье, что-то зашивает, мастерит. И все это молча. Но все слышит, все понимает, все знает наперед.

Он слушает в землянке песенку Карнаухова о фонарях. Через полчаса атака. Он слушает песенку, только глотнул один раз (что-то подступило к горлу, первое проявление чувства) и говорит — впервые фактически в фильме, — говорит о том, что, когда кончится война, он построит себе дом в лесу, он любит лес, и товарищ лейтенант придет к нему туда на три недели... «Почему на три?» — «Вы больше не сможете, вы будете работать...»

Когда я смотрю этот кусок, у меня у самого подступает

ком к горлу. Я вижу живого Валегу. Я до сих пор не могу понять, как на экране могли прозвучать эти не мечты о будущем, не приглашение в гости, а почти приказание — приказание живого Валеги, которое он мне отдал как-то ночью, в лесу под Ковелем: «И вы приедете ко мне на три недели...»

В другом эпизоде Валега отправляется на поиски воды. Взял пустой термос, вылез из окопа, обнаружил в овраге группу немцев, распивающих вино, неслышно заменил их термос с вином своим пустым (а как аккуратно, по-валеговски это сделано!), вернулся назад и, как ни в чем не бывало, принялся за прерванное занятие — штопку брюк. «Ты где болтался?» — спрашивает Керженцев. «Как где? Вы ж сами сказали, что воды нет...» И потом, попробовав вина из кружки: «Дрянь! Как раз для пулеметов...» Две фразы на весь кусок. И в них весь Валега. Как и во всем куске. И это настолько точно, что минутами, глядя на экран, я думал: «А может, и на самом деле это было?»

И, наконец, последний эпизод — в госпитале. Валега привез раненому Керженцеву письма и подарки с передовой — две бутылки коньяку. И опять я вижу живого Валегу, его насупленный, неодобрительный взгляд, когда Керженцев размахивает бутылкой и кричит на всю палату: «Живем, хлопцы!»; слышу его голос, его интонации в рассказе о немцах, сидящих в колечке: «Им с самолетов продукты сбрасывают, а мы... подбираем». Живой, живой... И в то же время свой собственный, «соловьевский».

На всю роль, по сути, три эпизода — каких-нибудь восемь-десять минут, — а перед тобой живой человек. Не иллюстрация к книге, а достоверный, осязаемый, хотя и на экране, и главное — думающий.

А как это важно в кино, да и вообще в искусстве — не только говорить, но и думать. И жить своей жизнью. Зрителю в конце концов совершенно безразлично, похож ли

экранный Валега на живого или нет, он увидел этого, экранного, и, поверив, полюбил — невзрачного, трогательного, порою забавного и никогда ничего не боящегося...

Много времени спустя Соловьев мне рассказывал, что его как-то пригласили на студию, чтобы сняться в роли Валеги для какого-то иллюстрированного журнала. «И вы знаете,— говорил он,— я даже заволновался. Разыскал ту самую гимнастерку, пилотку, телогрейку, штаны с собственной штопкой и, поверьте, надевал — и мне все казалось, будто я на самом деле в них воевал...»

Да, Юра и Валега по-настоящему сдружились. И их дружба еще больше укрепила мою.

Что же это за дружба такая, о которой я все время говорю? Не придумал ли я ее? А может, это вовсе и не дружба, и слово это я использовал только для того, чтобы оправдать свое вольное обращение с человеком, которого считал и до сих пор считаю своим другом? И возможно, прочитав книгу, посмотрев картину, а затем прочитав эти строки, он просто обидится на меня и скажет: «Вот они, писатели, что хочешь из тебя сделают, а ты терпи, молчи... И еще дружбой называют...»

Нет, не скажет он так.

Я пытаюсь сейчас восстановить в памяти эволюцию Валеги от живого, через книжного к кинематографическому и с тревогой обнаруживаю, что действительность и вымысел — иными словами, то, что было в самом деле, и то, что написано в книге и показано в кино,— как-то напластовавшись одно на другое, совместились и что мне необходимо определенное напряжение, чтобы установить четкую грань между ними. Получается нечто вроде того случая, когда человек много раз подряд рассказывает одну и ту же историю. Рассказ постепенно расцвечивается деталями, иногда для красного словца даже придуманными, в результате же, особенно если рассказу слушатели поверили, рассказчик сам

начинает в них верить. Одним словом, нечто «хлестаковское».

Хорошо это или плохо?

Для свидетеля на суде, конечно, плохо. Для произведения искусства не плохо и не хорошо, это — естественно. Это не должно вызывать тревогу. В этом и заключается художественная правда. Та самая, которая, отталкиваясь от действительности, возвращается к ней же.

И вот тут-то я не могу не привести отрывок из письма Соловьева ко мне, отрывок, который, на мой взгляд, дает очень убедительный и точный ответ на все возникшие у меня вопросы.

В начале письма Соловьев пишет, как он мучился на первых порах, пытаюсь «втиснуть себя» в написанного в книге и сценарии Валегу. Ничего не получалось.

«И вот тогда,—пишет Соловьев,— я стал искать другие ходы и приспособления к роли и в конце концов решил не «подражать» книжному Валеге, как пытался было делать вначале, а попробовать строить на основе вашего материала то, что у меня может получиться. Я стал чувствовать себя свободнее.

Теперь мне пригодилась и тяжеловатая, вразвалку, походка моего бати (у вас же — «мягкая, беззвучная походка охотника»), и чувствительные к вещам руки, оценивающий глаз, неторопливые, точные движения, стариковская хозяйственность и аккуратность во всем — моего деда (на это натолкнуло сходство Валеги со старичком — у вас же). Манерой разговора кино-Валега напоминает моего бывшего сокурсника Рыбакова, позднее ушедшего из института «изучать жизнь». А вечно обиженное, насупленное выражение лица почему-то взято и вовсе с незнакомого человека — шофера пострадавшей «Победы» в момент его объяснения с милицией.

Кое-что перепало Валеге и от меня лично. Мне, напри-

мер, казалось, что ему должно быть свойственно чувство ревности, а этого, как вы знаете, у меня — хоть отбавляй! Пришлось вспомнить и то, как я еще во время войны, пацаном, нянчился со своими младшими сестрами (вы где-то упоминаете, что Валега следил за Керженцевым, как «хорошая нянька»). Много пришлось фантазировать, а ко многому просто привыкать — ведь фронта я даже не нюхал! Выручило и мое давнишнее увлечение рисованием — это помогло найти индивидуальность в costume».

Так вот, оказывается, что получилось с Валегой. Он разросся, расширился, окреп. Работая «над ним» в книге, в сценарии, я шел от живого человека; Соловьев, работая над ролью, отталкивался от книжного образа и лепил свой собственный, живой, беря детали из жизни — от деда, отца, друга, шофера, самого себя. Кстати, мне очень нравится слово «отталкивался». В данном случае оно очень точно. Именно отталкиваться от образа, идти от него вовне, в мир, а не насильственно втискиваться в него, замыкаться. Вот это-то «отталкивание» и рождает художественную правду. Круг замкнулся — действительность вернулась к действительности.

Кого же из этих трех Валег я больше любил? Живого ли, но чуть-чуть уже потерявшего четкость очертаний, (а как хотелось бы их восстановить, встретившись с ним сейчас, тридцатитрехлетним отцом семейства), или книжного, с которым нас сблизила совместная выдумка, или самого молодого, «соловьевского», где многое зависело уже не от меня? Кого же?

На этот вопрос нелегко ответить. Думаю, гадаю, а ответ все один — Валегу...

НЕ ЮБИЛЕЙНОЕ ПРИЗНАНИЕ

К 70-летию И. С. Соколова-Микитова

Писатель... Что это такое? Он знает больше, чем другие? Видит лучше, чем другие? Имеет право учить меня, читателя, чему-то? И не на словах, а в книге, черным по белому, это уже вроде как учебник?.. Всегда, прочитав ту или иную понравившуюся мне книгу, я задавал себе вопрос: а каков он, писатель, в жизни? Похож ли на своих героев? Можно ли с ним вот так вот, по-человечески разговаривать?..

Когда-то, это было давно, у меня сложился некий выдуманный образ «идеального» писателя, которым я зачитывался бы и в то же время с которым при встрече мне было бы и легко и весело. Одним словом, хорошо...

Мне повезло — много лет спустя я встретился с таким писателем. Более того, я подружился с ним и думаю, что все, кому, кроме меня, выпало это счастье, благодарят судьбу за то, что она свела их с ним. Писатель этот Иван Сергеевич Соколов-Микитов.

Тут я чувствую на себе укоризненный взгляд Ивана Сергеевича: «Ну зачем вы это? Какой же я писатель? Не надо... Мы столько раз уже об этом с вами говорили, а вы вот и в статью — писатель... Я просто любитель.— И после паузы добавит: — Давайте выпьем за любителей, а?»

И мы выпьем за любителей. Какое это, в сущности, хорошее слово — «любитель»! Мне очень хотелось бы, чтоб оно потеряло свое теперешнее значение чего-то поверхностного (пусть сохранится для этого слово «дилетант»), а любитель пусть любит. Вот так, как Иван Сергеевич...

А он умеет любить. Все неподдельное, настоящее, простое, без вывертов, без фальши. А оно, простое и настоящее — будь то люди, звери, птицы, — в отместку любит его. Он как-то сказал: «Вы знаете, мне как-то в жизни очень повезло на хороших людей. Многих, очень многих я встречал. И они как будто не плохо относились ко мне...»

(Здесь я не могу не поправить Ивана Сергеевича — слова «не плохо относились» хочу заменить на «влюблялись». Говорю это со всей ответственностью, знаю по собственному опыту).

Внук пишет Ивану Сергеевичу из Ленинграда: «А кошка-то наша, дорогой Диля, нашла твою старую куртку и сидит только на ней». Иван Сергеевич улыбается, пожимает плечами: «Чужая душа — потемки. Перед этой кошкой все в доме подлизываются, а баба и внук кормят ее, ласкают, а вот спит только у меня». Иван Сергеевич явно тронут. Я тоже.

Я жалею, что так поздно познакомился с Иваном Сергеевичем — всего каких-нибудь пять лет. Увы, я не мог плавать с ним простым матросом на ближневосточной линии пароходного общества «Ропит», не мог бродить по кривым улочкам Константинополя или Александрии, пить вместе с арабами нечто обжигающее горло в кабаках Бейрута или Смирны, не мог летать и на «Илье-Муромце», на котором летал Иван Сергеевич в годы мировой войны. Да, всего этого я не мог — между нами все-таки двадцать лет разницы, но встретиться где-нибудь на Новой Земле или Земле Франца-Иосифа, на Шпицбергене, на Тянь-Шане я уже мог. Мог, но не свела судьба...

Зато мне повезло в другом. Я могу отложить сейчас листок, на котором пишу, спуститься этажом ниже и постучаться в комнату № 7 нашего дома отдыха.

— К вам можно, Иван Сергеевич?

И он ответит:

— Заходите, заходите. Вот и хорошо. Выкурим с вами по трубочке.

И я сяду в угол дивана, он, как всегда, в кресле у стола — большой, широкоплечий, в синем свитере с белыми оленями, — и мы закурим. Иной раз Иван Сергеевич почешет этот затылок и взглянет лукаво:

— А что, если мы малость согрешим, а?

И мы малость грешим.

Люди, мало знающие Ивана Сергеевича, часто говорят: «Нелегкая, видать, у него жизнь была, грустный он какой-то...» Да, жизнь у него действительно была нелегкая, было в ней много интересного, было и счастье, было и горе, большое горе; но грусть — это не то слово, которое связывалось бы как-то с обликом Ивана Сергеевича. Хотя и это в какой-то степени есть, в той степени, в какой грусть необходима всякому человеку. Но сколько в нем, кроме того, доброты, и серьезности, и какого-то благородного покоя, и в то же время лукавого, изящного озорства, да и просто, я бы сказал, веселья. Одного только нет, начисто нет — нет фальши! Ни в чем — ни в мыслях, ни в поступках, ни в книгах. Он ненавидит фальш, она ему противопоказана, и только в столкновении с ней — будь она в книге или человеке — он проявляет еще одно благородное свое качество — гнев.

О некоторых людях говорят: он интересный рассказчик, интересный собеседник. Откровенно говоря, я всегда боюсь таких людей. Рассказываемое этими людьми бывает обычно и умно, и интересно, но в большинстве своем сами рассказчики настолько упиваются собственным пением, что к концу этого самого «собеседования» чувствуешь себя лишним.

Иван Сергеевич тоже любит и умеет рассказывать. В этом умении есть какой-то секрет. И, думается мне, заключается он в полном отсутствии чего-либо показного, актерского. В большом обществе (даже не в большом — четыре человека уже много) Иван Сергеевич всегда молчит. Он предпочитает посидеть вдвоем — «выкурить трубочку»; вот тогда и говорится и слушается лучше.

В позапрошлом году я прожил что-то около двух недель в «имении» Ивана Сергеевича на берегу Волги — Карачарове. Собственно говоря, я жил в доме отдыха, в бывшей усадьбе князя Гагарина, но каждый день ходил к Ивану Сергеевичу в его маленький домик в лесу. Считалось, что я хожу туда работать. Я брал с собой папку, бумагу, карандаш и устраивался в маленькой уютной светелке за простым деревянным столом. Иван Сергеевич рылся в это время в каких-то бумагах в соседней комнате, перебирал книги или писал письма, потом невзначай вдруг появлялся в светелке, и работа моя, к великому моему удовольствию, на этом кончалась. Часы, проведенные в этой светелке, — одни из счастливейших в моей жизни.

Разговор всегда негромкий, неторопливый; в руке, большой руке охотника и моряка, обязательно трубка, она поминутно гаснет, чиркается спичка, несколько глубоких затяжек, спичка аккуратно кладется на стол — и рассказ продолжается. Бог ты мой, чего только не перевидал на своем веку Иван Сергеевич! Детство в глухой смоленской деревне, затем Смоленск, изгнание из реального училища по обвинению «в принадлежности к преступной ученической революционной организации», затем Петербург, Ревель, а дальше скитания, многолетние морские странствования, Черное и Средиземное моря, Греция, Англия, Германия, матросская жизнь... Затем солдатская — мотористом на первом русском бомбардировщике «Илья Муромец» (я был свидетелем встречи Ивана Сергеевича со своим пилотом — до

чего ж это было интересно!), затем революционный Петроград, гражданская война на Украине... После войн опять странствования — четыре арктических экспедиции (на Новой Земле есть даже залив Соколова-Микитова!), исследование центральной части Таймырского полуострова — последнего «белого пятна» на карте нашей страны.

А сколько встреч и дружб...

Сидишь и слушаешь. И о чем бы, о ком бы ни шел рассказ — все интересно, будь то о Горьком, Бунине, Ремизове, Куприне, Грине или о большом друге японце-матросе, который копил несколько лет деньги на покупку «кавасаки» у себя на родине и продул их в карты в один вечер. А как приручают беркутов? Оказывается, его еще молодым слетком берут из гнезда, долго затем морят голодом и не дают спать (охотник тоже не спит), а когда беркутенок уж совсем при последнем издыхании, дают кусок мяса, и он твой раб на всю жизнь...

— Ну, а о том, как меня в Киеве в контрразведку посадили, это уже в другой раз... Всего не расскажешь.

И я только дивлюсь, сколько у Ивана Сергеевича еще ненаписанного. А ведь вышло более тридцати названий его книг! И каких книг! Как много в них рассказано правильного, невыдуманного, каким ясным, чистым русским языком они написаны!

Тридцать названий! Как много! И вот тут-то возникает у меня какое-то странное ощущение. Я никак не могу представить себе Ивана Сергеевича пишущим. Как он стоит за штурвалом — представляю, и как с ружьем по лесу идет — тоже представляю, и даже как спускается в водолазном шлеме на дно морское (и такое было), а вот как он пишет — за столом на машинке, или в кресле, положив рукопись на колени, или, подобно Хемингуэю, стоя у бюро, — этого не знаю. Когда я читаю его вещи, я всегда слышу его голос. Будто это он мне все рассказывает. И вижу его. Вот

в этом месте он чуть-чуть улыбнется, а здесь лукаво посмотрит на меня или, наоборот, строго, даже сурово, а тут вдруг замолкнет, потянется за спичками, начнет раскуривать трубочку... И мне почему-то кажется, что все эти рассказы не написаны — я уверен, что он просто рассказывает их, а слова сами ложатся на бумагу. Разве не может быть такого?

К читателям своим Иван Сергеевич относится очень по-дружески, с доверием и вниманием, поэтому, наверно, им никогда с ним не бывает скучно. Ведь рассказывает Иван Сергеевич всегда только о том, что видел собственными глазами. Потому так широк и разнообразен мир его книг. Но о чем бы ни писал он — о портах Средиземного моря, о берегах Африки или о Таймырском полуострове, — он всегда остается самим собой — писателем, который вырос на лесной смоленской стороне. Любовь к родной земле, к ее людям, к ее лугам, цветам, травам, к ее жизни, нынешней и минувшей, — придают особую цельность и сердечность его книгам.

«Люди, не порывающие связь с родиной и природой, — пишет Иван Сергеевич, — не могут почувствовать себя одинокими. Как в детстве, раскрыт перед ними зеленый сверкающий мир. Все чисто, радостно, светло в этом мире. И как в далекие дни детства, над головой усталого путника, прилегшего отдохнуть после похода, колышутся лесные цветы, высоко в небе кружит, высматривая добычу, коршун-канюк».

Среди хороших, верных книг нашей литературы книги Соколова-Микитова занимают свое на первый взгляд неброское (уж очень скромнен сам Иван Сергеевич), а на самом деле доброе и прочное место. Их многое связывает с традициями русской классики, и вместе с тем их не отделить от наших дней с их открытиями, исследованиями, путешествиями. Читая книги Соколова-Микитова, всегда испы-

тываешь радость от встречи с умным, серьезным, очень добрым человеком. И читатель этих книг тоже, по-моему, должен быть таким. Не зря Иван Сергеевич в своем предисловии к «Избранным произведениям» пишет: «Лучшей авторской радостью были неожиданные встречи с читателями, которых находил иногда в самых отдаленных уголках нашей страны. Этим молодых и старых читателей считаю своими лучшими, самыми надежными друзьями».

ЖАК - СТЕФЕН АЛЕКСИС

(Предисловие к роману Алексиса «Деревья-музыканты»)

Гаити... Что знаем мы о Гаити? Спроси меня кто-нибудь об этом совсем недавно еще, года два назад, и я ответил бы, что это остров где-то неподалеку от Кубы, что он разделен на две части: одна из них — Доминиканская Республика (там Трухильо), другая — Гаити, там тоже какой-то диктатор, но не помню какой. Кроме того, Гаити — первое в мире негритянское государство, и во времена Наполеона там был «Черный консул», о котором когда-то в детстве читал увлекательную книгу. Вот, пожалуй, и все, что я мог бы сказать. И уж, во всяком случае, меньше всего мог предположить, что мне когда-нибудь суждено будет сдружиться с гаитянином.

А вот случилось. И не просто с гаитянином, а даже с правнуком императора Жака I. И я очень горжусь этой дружбой.

Правнук императора — высокий, стройный, с удивительно живыми, веселыми, умными глазами — появился в мае пятьдесят девятого года в ялтинском Доме творчества и тут же покорила всех его обитателей. Звали его Жак-Стефен Алексис.

Большинству из нас это имя тогда ничего не говорило. Мы знали только, что наш гость — писатель, активный

борец за свободу своего народа, что в Советском Союзе он впервые: приехал на III съезд писателей. Только полтора года спустя появился у нас перевод его романа «Добрый генерал Солнце». «Деревья-музыканты» — второй роман Жака-Стефена Алексиса, вышедший в Париже в 1957 году.

Я не собираюсь анализировать творчество Алексиса — его романы о жизни почти незнакомой нам страны говорят сами за себя, а его статьи и выступления (в 1956 году он выступал в Париже на I конгрессе негритянских писателей и художников с докладом о реализме гаитянского романа) мне, к сожалению, неизвестны. Хочется просто сказать о нем несколько слов как о человеке.

Пожалуй, не много встречал я в своей жизни таких обаятельных, простых, таких веселых и в то же время серьезных людей, как Жак Алексис. С первых же минут знакомства кажется, что этот молодой, очень даже молодой (хотя ему уже тридцать девять лет) человек с золотисто-каштановым отливом кожи и очень черными чуть-чуть ироническими глазами — твой давнишний закадычный друг. Так, во всяком случае, почувствовал я с первой же минуты, хотя по-русски он не знал ни слова, а я по-французски объясняюсь далеко не бегло.

Секрет его обаяния таится, по-моему, в каком-то удивительном умении совершенно раскованно, свободно и, я бы сказал, изящно держаться в любом обществе — будь то дети или взрослые, маститые литераторы или портовые рабочие. Он со всеми одинаков — мил, прост, весел, даже дурашлив. Но за всем этим чувствуется и другое — большое человеческое достоинство, ум и прорывающийся вдруг, даже в простой беседе, темперамент человека, у которого есть ясная цель в жизни, темперамент борца.

Таким вот — веселым, энергичным и целеустремленным — представляется мне и его прадед Жан-Жак Дессалин, тот самый, что возглавил в 1803 году вооруженную

борьбу за независимость Гаити и отбросил к морю французскую армию генерала Леклерка. Не будем осуждать прадеда за то, что впоследствии он провозгласил себя императором, — он был взбунтовавшимся негром-рабом, поднявшим на борьбу свой народ, и этого более чем достаточно, чтобы уважать его.

В Алексисе ничего нет от раба, хотя народ его сейчас и порабощен. Не увидел я в нем и каких-то заметных черт вождя или государственного деятеля, хотя свобода его родины для него дороже всего и, судя по дальнейшим событиям, нынешнее реакционное гаитянское правительство именно этого и испугалось.

Жак много рассказывал нам о своей родине, заселенной когда-то индейцами, полностью уничтоженными еще в XVI веке, о своем народе, потомках привезенных из Африки негров-рабов. С горечью говорил он о тяжелом положении четырехмиллионного народа сейчас. Рассказал он и о себе. Оказывается, он не только писатель, не только общественный деятель, у него есть еще и профессия, причем основная, — он врач-невропатолог.

Я в шутку спросил его:

— А кем выгоднее у вас быть: врачом или писателем?

Он подмигнул веселым глазом:

— Выгоднее всего иметь такую жену, как моя. Она шьет...

Жак не долго пробыл в Ялте, всего несколько дней. Вскоре он уехал. И стало вдруг скучно. Даже на пляже, куда мы с Жаком несколько раз ездили и где он покорила молодежь, главным образом как пловец, к нам подходили и спрашивали:

— А где Жак? Не простудился ли? У них там, вероятно, жарче, чем у нас.

Потом я встретил его в Москве. В те дни он был очень занят, но урвать вечерок нам все-таки удалось. На Гаити

было беспокойно, но Москва, по его словам, действует на него «тонизирующе», и он был весел, остроумен, горяч. Совсем как в Ялте. Он совершенно влюбил в себя всех сидевших за столом, особенно десятилетнего сынишку наших хозяев, Павлика, которому разрешено было по случаю «высокого гостя» не готовить сегодня уроки и позже обычного лечь спать. Он притащил Жаку глобус, и тот поставил крестик в том месте, где он живет, в Порт-о-Пренсе. Потом Жак подарил ему автограф — несколько строк пожеланий, чтоб Павлик рос таким-то и таким-то. Павлик с таинственным видом убежал, а через полчаса вернулся со сложенным вчетверо листком бумаги. На нем крупными буквами по-французски было написано: «Дорогой Жак! Обещаю тебе всю жизнь быть честным, правдивым и смелым. Твой Поль».

Не знаю, как у других, но у меня что-то заскребло в горле. У Жака, по-моему, тоже. Павлик же, когда Жак ушел, не выдержал, бросился матери на шею и, преодолевая всхлипы восторга, признался ей, что это был самый счастливый день в его жизни...

Уезжая, Жак обещал писать. Кто верит таким обещаниям? Но он не обманул — спустя некоторое время пришло от него длинное письмо, написанное аккуратным, кругленьким, с забавными закорючками, почерком. В нем он писал о романе, который никак не может закончить, о том, как трудно сейчас работать и как надо все же работать, несмотря на тяжелую атмосферу, из которой соткана наша жизнь.

«Где оно, то время, когда среди советских друзей я мог спорить об артистической судьбе нашего общего друга, человека искусства, того искусства, что порождает красоту жизни и счастье существования. Где это время, когда в Ялте я был предметом всеобщего вашего внимания и, отдыхая на каменистом крымском пляже, вдыхал чистый

воздух свободной земли, где живут свободные люди? Где оно?»

Письмо кончалось трогательной просьбой: «Ответьте мне и «передайте», если можно, немного тепла вашей страны, которая переживает сейчас дни энтузиазма после «прилунения» ракеты, открывающей, наконец, врата во Вселенную».

Несколько месяцев назад в заграничной, а затем в нашей прессе появилось тревожное сообщение о том, что Жак-Стефен Алексис схвачен у себя на родине, брошен в тюрьму, что его истязали, били. В ответ на запрос французской газеты «Леттр франсез» гаитянское посольство в Париже грубо ответило, что ему ничего не известно об этом и что обращаться надо к правительствам тех стран, куда он ездил.

Последние сведения о судьбе Алексиса вселяют еще больше тревоги — говорят, что он убит. Нам не хочется верить этому, так как мы знаем, что народ Гаити не допустит расправы над ним. Это один из лучших его сынов.

И мы верим в нашу встречу, верим, что пожмем его смуглую руку, верим, что увидим еще не раз веселый, не затуманенный никакими тюрьмами блеск его черных чуть иронических глаз. Верим, что прочтем еще не одну его книгу.

СОДЕРЖАНИЕ

Вася Конаков	3
Сенька	8
Рядовой Лютиков	43
Новичок	58
Судак	84
Переправа	129
Посвящается Хемингуэю	137
Вторая ночь	146
Август-Фридрих-Вильгельм	195
Через десять лет	207
Чао, Джульянчик!	214
«Санта-Мария», или Почему я возненавидел игру в мяч	235
Из блокнота	241
«Землянка»	253
Три встречи	260
Неюбилейное признание	275
Жак-Стефен Алексис	282

**Виктор Платонович
Некрасов**

ВАСЯ КОНАКОВ

Рассказы

Издательство «Дніпро»,
Киев, Владимирская, 42.

Редактор *В. А. Тихонович*
Художник *А. М. Иовлев*
Художественный редактор *М. П. Вуек*
Технический редактор *Н. С. Глембоцкая*
Корректоры *Л. Г. Лященко, А. С. Назаренко*

Изготовлено на книжной фабрике
им. Фрунзе
Государственного комитета Совета
Министров УССР по печати.
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

Литотипист *О. Кавакевич*
Верстальщик *Ю. Ткачук*
Печатники *А. Лысенко, Д. Тимошенко*
Руководитель переплетно-брошюровальных
процессов *В. Задорожный*

БФ 04581.

Сдано в производство 3/IV 1965 г.
Подписано к печати 14/VII 1965 г.
Формат бумаги 70 × 108¹/₃₂.
Физич. печ. лист. 9. Условн. печ. лист. 12,6.
Учетно-издат. лист. 12,415. Цена 47 коп.
Заказ 5-214. Тираж 30 000.
БЗ № 3 — 1965 — поз. 34.

47 коп.
К

150

